Евгений Водолазкин

Дом и остров, или Инструмент языка

От автора романа «ЛАВР», победителя премии БОЛЬШАЯ КНИГА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Евгений Водолазкин (р. 1964) — филолог, автор работ по древнерусской литературе и… прозаик, автор романов «Лавр» (премии «Большая книга» и «Ясная Поляна», шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер») и «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист премии «Большая книга» и Премии Андрея Белого).

Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и — пожалуйста — уже лежит. И все-таки «быть ихтиологом и рыбой одновременно» — не только допустимо, но и полезно, что и доказывает книга «Дом и остров, или Инструмент языка». Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды — что-то от пушкинских «table-talk» и записей Юрия Олеши — напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.

- Евгений Германович Водолазкин
  - От автора
  - Мелочи академической жизни
    - Обслуживая графа
    - Vivat academia
    - Слово Андроникова
    - Тревожный звонок
    - Два Александра
    - Сумерки демократии
    - Omnia mea mecum porto
    - 1810 рублей
    - Противопожарное
    - Подчеркнуто вежлив
    - О марксизме в египтологии
    - Хорошее отношение к котам
    - Рыбы в парадном
    - Отец и сын
    - Петербургские зонтики
    - Малой кровью
    - Вопросы литературы
    - Анатомия истории
    - Vox populi
    - Газовый вопрос

- Местоблюститель
- Русские звуки
- Искусство и действительность
- Без права на улыбку
- Правда о Шлимане
- Римские каникулы
- Двойные стандарты
- Пристрастие к Броделю
- Дикие люди
- Ошибка рецензента
- Ученые — строителям
- Подземный мир
- Вредные привычки
- Мало приятного
- Сеанс с разоблачением
- Легкое дыхание
- Литературоведы в блокаду
- Дом и остров

○ In memoriam
- Постижение свободы
- Добрый человек из Петербурга
- Эпоха Лихачева
- Лев Александрович
- Кунсткамера в лицах
- Моя бабушка и королева Елизавета
- Протоиерей Александр Нечаев
- День рождения Коли
- Инструмент языка

○ Мы и наши слова
- Перечитывая Унбегауна
- Люди на своем месте
- Госкомаббревиатура
- Трудности русского языка
  -
  - Топонимы и этнонимы
  - Высокая миссия невежества
  - Езда в незнаемое
  - Обсценное и необсценное
  - Телевидение и радио
  - Компьютер
  - Русский как иностранный
- Нужна ли языку защита?
- Мы между реальностью и мифом

○ Вопросы и ответы

        - О себе
        - О «Соловьеве И Ларионове»
        - О «Лавре»
        - О литературе
        - Об истории и обществе
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

Евгений Германович Водолазкин
Дом и остров, или Инструмент языка

От автора

Публикуемые в этой книге тексты возникли в разное время и в разных условиях. Не ощущая до поры своего родства, они беспечно существовали порознь. Некоторые издавались («Новая газета», «Независимая газета», журналы «Звезда», «Огонек» и др.), некоторые — нет. Какие-то из них вообще не были записаны и вели вольный устный экзистенс. Соединив их под одной обложкой, я почувствовал, что небольшое это собрание не лишено внутренней драматургии. Думаю, что от скопления людей и слов иного результата ждать не приходилось. Люди и слова сосуществуют, вступают в непростые отношения, а порой («от всего человека вам остается часть речи») незаметно переходят друг в друга. При таком положении вещей довольно сложно установить, человек породил слово или — что вовсе не редкость — сам порожден им.

Люди этой книги предстают по преимуществу в облике ученых. Ошибается тот, кто считает, что об этом облике (поблескивание очков, скрипучее «бэтенька») всё известно. Жизнь ученого полна опасностей и тревог, в ней есть свои землетрясения и цунами. Ее описанию посвящены короткие рассказы и эссе. Претендуя на достоверность, обозначу эти тексты загадочным словом «нон-фикшн». Как и положено, они основаны на письменных и устных источниках, не говоря уже о собственных наблюдениях повествователя. Некоторые из них, впрочем, успели покрыться тем налетом фольклорности, который отчасти снимает проблему соотношения реальности и вымысла.

Становясь в значительной степени феноменом словесности, герои публикуемых текстов неизбежно подводят к разговору о *словах*. Слова в этой книге разные: слова-аббревиатуры, слова-заимствования и слова-мифы. Слова-комментарии. Слова-рекомендации (начиная с определенного возраста хочется поучать) относительно того, как со словами обращаться. Тем, кто развивает язык самостоятельно, к рекомендациям прислушиваться не обязательно.

Мелочи академической жизни

Обслуживая графа

В дни варшавского Съезда славистов несколько его участников зашли пообедать в ресторан «Под крокодилом». С официантом общался Александр Михайлович Панченко, знавший польский язык. Десерт заказали все, кроме Дмитрия Сергеевича Лихачева. Официант переспросил, кто именно не будет заказывать десерта. Александр Михайлович ответил, что заказывать десерта не будет граф. Без особенных уточнений ответил, что называется, не указывая пальцем. Именно такой ответ Александру Михайловичу (а он редко ошибался) показался в тот день уместным. Официант принес десерты всем — кроме Дмитрия Сергеевича. В ресторане «Под крокодилом» графов определяли безошибочно.

Vivat academia

В прежние времена сотрудники Института русской литературы (Пушкинского Дома) имели обыкновение выезжать в совхоз «Федоровское». В сентябре они собирали там турнепс. Турнепс, выражаясь шершавым языком «Википедии», — кормовая репа, растение из семейства капустных. Иногда собирали картофель, насильно введенный Екатериной. Реже — петрушку. Литературоведы стояли на грядках и связывали петрушку в пучки. От синтетических веревок на их пальцах быстро появлялись ссадины. Исследователи утешались тем, что в изучаемых ими текстах труженикам полей никогда не было легко. Впрочем, легко там не было никому.

На полях совхоза «Федоровское» сотрудникам Пушкинского Дома по большому счету недоставало одного: народа. Который они знали по русской литературе, но хотели увидеть и вне ее. Непонятно, где находилось местное население — может быть, стеснялось. Возможно, его просто не было.

Однажды на краю поля со стороны совхоза появились две крошечные фигуры. Приблизившись, они превратились в двух красивых девушек. Таких, какими и должны были быть девушки из совхоза «Федоровское». Полногрудых, голубоглазых. С косами. Они подошли к мужчинам Пушкинского Дома и сказали:

— Мы ищем своих. Это Академия художеств?

— Нет, — ответили мужчины. — Это Академия наук.

Слово Андроникова

В прежние времена в Пушкинском Доме любили поздравлять женщин. Происходило это в один из мартовских дней, совпадая по времени с каким-то советским праздником. Однажды поздравление совпало с пребыванием в Пушкинском Доме Ираклия Луарсабовича Андроникова, приехавшего поработать в Рукописном отделе.

В качестве поздравления в тот год готовился альбом с высказываниями мужчин Пушкинского Дома о женщинах. Подавленные многочисленными текстами русских классиков, исследователи их творчества высказывались о женщинах с трудом. Порой — излишне мрачно, отклоняясь от благожелательного в целом отношения к женщинам со стороны отечественной словесности. Которая, как известно, создавалась преимущественно мужчинами.

На выручку пришла Нина Александровна Колобова, сотрудница Библиотеки Пушкинского Дома и ее добрая фея. За высказыванием для альбома она обратилась к Ираклию Луарсабовичу Андроникову. Ираклий Луарсабович, конечно, не был мужчиной Пушкинского Дома. И стиль его работы не всегда соответствовал представлениям о традиционном литературоведении. Не говоря уже о совершенно неакадемическом темпераменте, привлекавшем к нему значительно больше женщин, чем это происходит, скажем, со среднестатистическим литературоведом. Но в этом-то и заключалась его сила, по крайней мере в отношении высказываний о женщинах.

Неожиданно для Нины Александровны писать в альбом Ираклий Луарсабович отказался.

— Что вы, какие женщины в моем возрасте! — сказал он.

— Но у вас ведь такой опыт! — настаивала Нина Александровна.

— Вот только опыт и остался, — вздохнул Андроников.

Жаль, конечно, что своим опытом Ираклий Луарсабович так и не поделился. Молодым поколениям пушкинодомцев пришлось открывать всё самостоятельно. Идя вслепую. Что называется, на ощупь.

Тревожный звонок

В дирекцию Пушкинского Дома позвонили из обкома партии. Коммунистической. Тогда, впрочем, не требовалось объяснять, какой именно: обкомов других партий в Ленинграде не было. «Опять у вас изнасиловали натурщицу?» — строго спросил звонивший. Не задумываясь, в дирекции отрицали не только этот, но и все предыдущие факты противоправной деятельности. Отрицали даже само наличие натурщиц. «Это Пушкинский Дом Академии художеств?» — уточнили в трубке. «Нет, — ответили из дирекции. — Это Пушкинский Дом Академии наук».

Звонок этот широкого обсуждения не имел. Но те, кто о нем знал, сделали по крайней мере два вывода. Первый из них был общего порядка и состоял в том, что коммунистическая партия большого различия между академиями не делала. Или считала, возможно, что в каждой академии есть свой Пушкинский Дом. Второй вывод относился непосредственно к Академии художеств. Из случайного звонка выяснялось, что рядом, у соседей по Васильевскому острову, протекала иная, неспокойная жизнь, полная искусства, натурщиц и безумств. Объектом же занятий в Пушкинском Доме всегда были русские писатели. По преимуществу покойные. Ни о каких художествах здесь не могло быть и речи.

Два Александра

Два аспиранта Пушкинского Дома как-то раз зашли в столовую на Васильевском острове. Оба они носили звучное имя Александр. В портфеле одного из Александров лежала бутылка водки, которую тезки предполагали распить. Поскольку чистых стаканов в общепитовских столовых не выдавали, обоим Александрам пришлось купить по мутно-розовому киселю. Сев за столик, они одновременно закрыли глаза и, стараясь не думать о розовых соплях, залпом выпили содержимое. В тот момент им казалось, что уже один этот поступок искупает то слегка противоправное деяние, которое они собирались совершить.

Когда один из Александров полез за бутылкой в портфель, второй заметил, что к их столику приближается старушка уборщица. Не подозревая, что находится между двумя Александрами, старушка не стала загадывать желания. Она попросту взяла стаканы и понесла их в мойку. Доставший бутылку Александр был вне себя. Он с силой воткнул бутылку обратно в портфель и вытер вспотевшие руки о колени. Второму Александру тихо отрыгнулось киселем.

Посидев так какое-то время, Александры подошли к раздаче и снова купили по киселю. Вернулись за свой столик и выпили содержимое стаканов еще раз. В этот раз литературоведы закрывали не только глаза, но и носы. Первый из Александров снова полез за бутылкой в портфель. Не привлекая лишнего внимания, он начал открывать бутылку под столом. Когда второй Александр увидел старушку, было уже поздно. Поставив стаканы один в другой, она невозмутимо понесла их в мойку.

И тут случилось непредвиденное. Открывавший бутылку Александр бросил свою невидимую миру работу и в один прыжок оказался рядом со старушкой. Гордость и надежда Бориса Михайловича Эйхенбаума, Александр, вопреки традициям русской классики, начал старушку уборщицу душить. Ни посетителям столовой, ни приехавшей по вызову милиции не удалось выяснить, за что именно душили старушку. Александр так и остался непонятым.

Главным в этой истории мне кажется то, что старушке удалось вырваться, хотя шансов у нее было, прямо скажем, немного. Возможно, ее спасло то, что она находилась между двумя Александрами, и ее желание — в ту минуту единственное — исполнилось.

Сумерки демократии

Как я уже говорил, осенью сотрудники Пушкинского Дома ездили в совхоз «Федоровское» на сбор турнепса. Отношения с этой культурой складывались непросто, и, несмотря на рекордные (совершенно необъяснимые) достижения отдельных сборщиков-литературоведов, средние показатели сбора были весьма умеренными. Эти цифры отчасти скрашивались другими показателями присланного контингента. В подчинении нашего бригадира Любы находились, среди прочего, с десяток докторов наук и десятка полтора кандидатов, что Любе очевидным образом импонировало. Несмотря на свое немногословие (в разговоры с подчиненными Люба вступать избегала), в жизни она умела ценить парадокс.

Большие и малые несоответствия нравились и нам. Название местности не согласовывалось в роде со словом «совхоз», «турнепс» звучал почти буржуазно и с совхозом опять-таки не связывался, но главное (это было действительно главным!) — поля совхоза «Федоровское» лежали у самого Павловского парка. Соседство стихий столь несхожих кружило голову, как кружил ее сырой и резкий воздух парка: многие из нас, отказавшись от совхозной развозки, шли к станции через парк.

Для головокружения имелся еще один повод. Он не был связан ни с совхозом «Федоровское», ни даже с Павловском. В те дни проходил перестроечный Съезд народных депутатов. На борозде стоял маленький радиоприемник, передававший прямую трансляцию из Москвы. Работали только те, кто находился рядом с приемником, остальные мало-помалу смещались в зону его слышимости. Сбежавшие с постов предусмотрительно держали в руках свежевырытые корнеплоды. И хотя Любу это не могло сбить с толку, верная избранной тактике, она ничего не говорила. Молчаливое Любино осуждение было красноречивее всяких слов.

Задержавшись в парке, мы вышли к станции довольно поздно. Людей на платформе было мало. В ожидании электрички некоторые отправились гулять по привокзальной площади, а я с несколькими коллегами остался сидеть на скамейке. У самого края платформы стоял человек, по виду — крестьянин, в огромного размера сапогах. Рядом с ним лежал мешок. Который — и почему-то это никого не удивляло — время от времени шевелился. Лицо крестьянина, как и положено тому, кто держит кого-то в мешке, было суровым и обветренным. Я даже не успел подумать о том, кто именно мог двигаться там, внутри, как на нашу скамейку села Люба. Она тоже куда-то ехала. Люба

безразлично смотрела вперед и нас вроде бы не замечала. Время от времени опускала голову и выдувала воздух в свою телогрейку.

Мешок, конечно же, развязался, и оттуда выскочил поросенок. Размером с небольшую собаку. Неправдоподобно розовый. Он бегал по платформе из стороны в сторону и отчаянно хрюкал. В его хрюканье сквозило нескрываемое удовольствие: так хрюкают только от удовольствия. Суровый крестьянин, не теряя достоинства, двинулся за поросенком. Он не стал за ним гоняться, а выставил на его пути свой огромный сапог, и поросенок замер. Наверное, именно так и следует ловить поросят. Взяв поросенка в охапку, крестьянин бросил его в мешок. Безмолвная прежде Люба повернулась к нам и отчетливо сказала: «Вот и вся демократия».

Отношение к демократии и к тем, кто себя с ней отождествлял, в Пушкинском Доме со временем менялось. В глазах одних — ввиду сопровождавших ее в России явлений — идея ощутимо померкла. Для других она перешла в сферу сакрального, окончательно утратив реальное измерение. Третьи вообще покинули эту систему координат и устремились в область внутренней свободы как в безотказное и самое, пожалуй, надежное убежище. Всем без исключения за истекшие годы пришлось услышать множество разных высказываний о демократии. Возможно, более глубоких и развернутых, чем Любино. Но не более ярких.

Omnia mea mecum porto

Пушкинодомец Л. очень любил кино. Не являясь киноведом («кинологом», как шутят представители этой корпорации), он знал о кино всё. Л. не пропускал ни одной премьеры — из тех, разумеется, что ему были доступны. Только вот премьеры были ему доступны не все — из-за того, что к упомянутой корпорации он, увы, не принадлежал. Ведь принадлежность к корпорации подразумевает некоторые преимущества, а преимущества одних — так уж устроена жизнь — чаще всего являются результатом ограничения других. Иначе какие же это преимущества?

Такое положение вещей не позволяло Л. посетить очередную премьеру. Это был *закрытый просмотр* для членов Дома кино, каковым Л., понятное дело, не являлся. Не преувеличивая значения членства, он отправился в Дом кино. Стоя в очереди у входа, он невозмутимо наблюдал, как пришедшие на премьеру предъявляли на контроле свои членские билеты. Он был единственным, кому предъявить было нечего. И он ничего не предъявил. Он прошел мимо контроля, вежливо поздоровавшись.

— Член Дома? — спросили его вдогонку.

— Нет, с собой, — ответил Л. и прошел в зал.

Возвращать его не стали. Вероятно, в Доме кино в таких случаях верят на слово.

1810 рублей

На Большом проспекте Петроградской стороны я увидел катящуюся десятку. Я сразу даже не понял, что это десятка, потому что никогда в своей жизни не видел катящихся купюр. Десятка была скомканной, съежившейся и напоминала замерзшего воробья. В мартовской поземке она даже как-то по-птичьи подпрыгивала. Это была самая несчастная из когда-либо виденных мной десяток. Когда она ко мне подкатилась, я ее подобрал.

Я прошел еще несколько метров и увидел три сотенных бумажки. Они подкрадывались ко мне гуськом — сотня за сотней. Я мог бы ущипнуть себя, но жест показался мне слишком литературным. Я и так знал, что не сплю. Что интересно: иногда мне действительно снилось, что я нашел деньги — особенно в периоды безденежья. Но там они выглядели совершенно по-другому. Это были тугие, опечатанные лентой пачки евро. Пахнущие типографской краской. Хрустящие нездешним хрустом. Они задумчиво лежали на земле, и катиться им просто не приходило в голову. Даже во сне я удивлялся размаху своих трат. По правде говоря, я не ожидал от себя таких безумств. Немного подумав, я решил, что было бы правильным подобрать все три катившиеся сотни. Хотя — уж какие тут безумства…

Несмотря на реальность происходящего, ситуация явно выходила за рамки повседневного опыта. Я попытался взять себя в руки и сосредоточиться. Я, думалось мне, являюсь типичным представителем научной среды. Которая, по официальным данным, имеет среднюю зарплату в 30 000 рублей. Кто именно получает эту среднюю зарплату, я до сих пор не знаю: жалованье известных мне докторов наук значительно меньше. Аспирант же на все свои нужды получает 1500 рублей. (На одну из сотенных бумажек наступили, но она тут же расправилась и покатилась дальше.)

«А если это деньги аспиранта?» — спрашивал я себя, поднимая сотню за сотней. «Значит, — ответ приходил сам собой, — теперь у него осталось 1190 рублей». Я расстроился. И тут же нашел тысячу рублей. Она выкатилась на меня из-под водосточной трубы. Такая же скомканная и неказистая, но — тысяча. Что называется, покатило… Дальше натренировавшимся моим глазом были замечены две пятисотки. Одну из них я подобрал, а возле второй неожиданно возникла чья-то рука.

— Это ваши деньги? — спросил я незнакомца и протянул ему смятые бумажки.

Взяв мою ладонь обеими руками, он сложил ее в кулак.

— Не разбрасывайтесь деньгами, — сказал он строго. — В настоящий момент мне хватит и пятисот. А остальные все-таки вы нашли.

Я удивился его честности и спросил, что он думает о происхождении этих денег.

— Могли с балкона упасть, — сказал человек, не задумываясь, и распрощался.

Я поднял глаза вверх. Там никого не было. Балконы северного города были задраены наглухо.

В этой находке был несомненный привкус горечи. Да, потерянные деньги не принадлежали аспиранту. В сумме они превышали то, что мог иметь при себе российский аспирант. Но эти деньги могли принадлежать и младшему научному сотруднику, чье положение немногим лучше. И я решил подождать, не вернется ли кто-нибудь за деньгами.

Я плохо себе представлял, как именно должен был выглядеть такой человек. Может быть, грустным. Может быть, рассерженным или, чего доброго, отчаявшимся. Я просто ждал. Прошло минут пятнадцать, но того, кого я мог бы определить как вернувшегося за деньгами, не было. Я уже собрался уходить, как вдруг заметил человека в пальто с поднятым воротником. Пальто было потертым, человек — сутулым. Он шел, покачиваясь от колючего ветра, и казался трагическим символом российской науки. Сутулость человека усугублялась тем, что он неотрывно и сосредоточенно смотрел себе под ноги. У меня екнуло сердце.

Я (благотворительность имеет свою эстетику) положил ему руку на плечо:

— Вы ничего не ищете?

Он поднял голову, и я увидел его глаза. В них не было ни грусти, ни гнева, ни отчаяния. В них не было ничего, кроме безмятежности.

— Нет, — он указал на рюмочную, — я всё нашел.

Жест его был скуп, а голос тих.

Придя в Пушкинский Дом, я рассказал о катящихся деньгах. Вопреки моему ожиданию никто из моих коллег не удивился. Им казалось, что при массовом и не всегда понятном перемещении денег по стране часть из них обязательно должна оказаться на тротуаре. А одна моя знакомая аспирантка даже сообщила, что ищет там деньги целенаправленно. Осуществляя экономию, она ходит пешком и заодно осматривает места вероятного залегания купюр. Предпочтительными, по ее мнению, являются сугробы на обочинах: выходя из такси, пассажиры роняют деньги именно туда. Таким образом девушка уже нашла однажды двести

долларов.

Описав факты внебюджетного финансирования науки, я хотел бы сообщить нашему государству и об отдельных проблемах. Одна из них состоит в том, что отпускаемые научному сообществу деньги — по свойству, очевидно, легких материалов — сосредоточиваются преимущественно в верхних его слоях. Что, вообще говоря, не вполне соответствует распределению в этом сообществе научных идей. Другая проблема связана с тем, что подбирание денег на улице рядовым научным составом происходит всё еще крайне нерегулярно. А потому рассчитывать только на этот источник финансирования пока не приходится. Наконец, аспирантский доход в 1500 (одну тысячу пятьсот) рублей представляется достаточным не всем. Отдельные, перефразируя Сашу Соколова, прожигатели стипендий даже утверждают, что внушительной этой суммы хватает не на все их нужды. Впрочем, такие голоса раздаются всё реже: их обладатели попросту уходят из науки.

Противопожарное

В 1987 году произошел пожар в Библиотеке Академии наук. Вокруг этого события — для русской науки, безусловно, трагического — было много разговоров. Велись они преимущественно в институтских курилках, поскольку публичные обсуждения происшествия не приветствовались (нежелательность обсуждения в полной мере ощутил на себе и Дмитрий Сергеевич Лихачев, активно в это дело вмешавшийся). Стоит ли говорить, что исправление положения власти начали именно с курилок.

Вслед за ужесточением пропускного режима запретили курить и в Пушкинском Доме. Об этом было объявлено на общем собрании института. Услышав объявление, к трибуне вышел знаменитый пушкинист Вадим Эразмович Вацуро. «Ну, конечно, — сказал Вадим Эразмович, — конечно, все мы понимаем, отчего возник пожар в Библиотеке Академии наук. “Северная пчела” закурила с “Русским инвалидом”. По этой причине нас хотят лишить возможности курить». Подчиняться запрету Вадим Эразмович отказался. Его поддержали все, включая некурящих. Потому что курилка как институт, связанный со свободой слова, был дорог даже некурящим.

Подчеркнуто вежлив

Замечательный ученый М. был человеком, умевшим не только работать, но и отдыхать. Однажды, в минуту застолья, он почувствовал непреодолимую потребность позвонить академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И позвонил, конечно же. И поговорил — темпераментно и бескомпромиссно, как всегда в таких случаях. Проснувшись наутро, М. вспомнил о звонке, и душа его заныла в предчувствии недоброго. Он не помнил, о чем, а главное — как разговаривал с Дмитрием Сергеевичем. Помнил только, что — разговаривал. Зная, что после употребления крепких напитков бывает нелицеприятен, М. совсем расстроился. В конце концов он решил, что хуже всего — неопределенность, и отважился на повторный звонок академику.

— Я вам, Дмитрий Сергеевич, вчера… звонил, — сказал, прочищая горло, М.

— Да, — подтвердил Лихачев, — звонили.

— Так вот, я хотел бы попросить у вас прощения…

— Помилуйте, да за что же?

М. подумал.

— Я боюсь, что мог быть груб.

— Напротив, — сказал Лихачев, — вы были подчеркнуто вежливы. И даже обращались ко мне: «Ваше превосходительство».

Отношения между учеными обычно лишены церемонности. Общаются ученые, что называется, без чинов. Бывают, однако же, случаи, когда ненавязчиво упомянутый титул способен украсить диалог с неочевидным, если разобраться, исходом. Именно это, скорее всего, и имел в виду М., прибегая к указанному обращению. Присущий ему диалектический подход стал достоянием не только фольклора, но и литературы. Считается, что исследователь послужил прототипом Левы Одоевцева в романе Андрея Георгиевича Битова «Пушкинский Дом».

О марксизме в египтологии

Академик Василий Васильевич Струве был выдающимся ученым. Его труды по востоковедению, включая первую работу о сфинксах у петербургской Академии художеств, давно стали классическими. Своих современников Василий Васильевич поражал энциклопедичностью знаний и широтой взглядов.

Крупнейший специалист в области Древнего Египта, он восторженно принял приход к власти большевиков. Возможно, методы их правления чем-то напоминали Василию Васильевичу предмет его собственных занятий. Мумификация Владимира Ильича Улья нова (Ленина) должна была не только поднять настроение исследователя, но и окончательно убедить его в сходстве цивилизаций. Как востоковеда его не могло не радовать, что с постройкой мавзолея Москва, подобно Северной столице, получала изящный египетский акцент.

Стоит ли удивляться, что логика развития взглядов Василия Васильевича привела его к марксизму. В духе марксистского учения он даже разработал теорию о пяти сменяющих друг друга общественно-экономических формациях. В советских научных и партийных кругах она пользовалась большим успехом и для краткости именовалась «пятичленкой».

По воспоминаниям коллег Василия Васильевича, оригинальность его умонастроения проявлялась и в преклонном возрасте. Ступая одной ногой по тротуару, а другой по мостовой, он с огорчением отмечал, что начинает хромать. Выйдя из дому, мог по рассеянности забыть, куда именно он шел. В таких случаях Василий Васильевич звонил домой и измененным, как ему казалось, голосом просил позвать самого себя к телефону. Когда домашние отвечали, что академик ушел, он спрашивал, куда именно. Разумеется, от звонившего этого не скрывали. Заодно ему сообщали цель визита и в общих чертах описывали маршрут.

Хорошее отношение к котам

Мне неоднократно приходилось писать о заметной роли котов в науке. О том уважительном отношении, которое, в частности, проявлялось к ним со стороны петербургского исследовательского сообщества. Продолжая эту портретную галерею, я хотел бы упомянуть о коте выдающегося русского историка Василия Григорьевича Дружинина.

В доме Дружинина любили играть в винт. Помимо кота и Василия Григорьевича, в один из вечеров присутствовали профессора Николай Дмитриевич Чечулин и Николай Иванович Веселовский. Будучи страстным игроком в винт, Николай Иванович крикнул Николаю Дмитриевичу:

— Кот Василия Григорьевича лучше вас играет!

— Что это вы, Николай Иванович, меня ругаете? — обиделся Николай Дмитриевич.

— Я вас не ругаю: я кота хвалю, — пояснил Николай Иванович.

Слышать это коту было, разумеется, приятно.

Рыбы в парадном

Рассказав о котах, расскажу уж и о рыбах. Отправляясь однажды по делам, я увидел в своем парадном аквариум. Небольшой такой аквариум, не очень ухоженный. Удивительным, конечно же, было не то, что неухоженный, а то, что в парадном. Он стоял на подоконнике, и лучи солнца с трудом пробивались сквозь его мутную воду. Рядом лежали микрокомпрессор и «Растительные добавки к основному рациону» в картонной упаковке. В аквариуме плавали две большие плоские рыбы.

Время от времени у нас выставляют на подоконник предметы, от которых хотят избавиться. В разное время это были детские игрушки, книги Дарьи Донцовой, алоэ и какое-то подсохшее растение, названия которого я не знаю до сих пор. Ничто из выставленного меня не привлекало, но неизвестное растение я все-таки взял. Мне тогда казалось, что оно нуждается в срочном поливе (с тех пор я поливаю его уже несколько лет, но вид его почему-то не меняется).

Я смотрел на аквариум и понимал, что взять его не могу. Во-первых, это ведь не растение, а аквариум: есть разница. Во-вторых, у меня уже имеется аквариум. В-третьих… Эти бурые рыбы были какими-то странными. Их форму я бы определил как доисторическую, хотя и затруднился бы объяснить, что конкретно имею в виду. Но главное — было в них что-то неприятное. Что-то невыносимо придонное, из глубины поднявшееся. От веселых обитателей моего аквариума этих рыб отличал *тяжелый взгляд*. Даже если бы эти рыбы не съели моих рыб (надежду на это давал их вегетарианский корм), их мрачное соседство порядком испортило бы моим рыбам настроение.

Я люблю рыб. В отличие от сотрудников академических учреждений, они немногословны, и общение с ними успокоительно. Занимаясь своими делами, я то и дело отвлекался и думал о брошенном аквариуме. Кто мог выставить его на подоконник? Ближайшей была дверь коммуналки, которую делили оператор станков с числовым программным управлением и алкоголик. Ни тот ни другой не искали в жизни успокоения, и радость созерцания аквариума была им, казалось, чужда.

Мне думалось и о том, что судить о рыбах по их мрачноватому облику несправедливо. Мало ли кто как выглядит: из этого еще ровным счетом ничего не следует. Сколько есть примеров тому, что внешность — обманчива. Неподвижность рыб в мутном аквариуме приобретала в моих глазах черты стойкости. Неколебимости — вопреки ударам судьбы. В этой неподвижности

мне виделось сиротство. Чей-то от них отказ. Ведь смотрел же кто-то на них по вечерам, при уютном свете лампы. Может быть, даже с ними разговаривал. Что-то щемящее было даже в прилагавшихся микрокомпрессоре и растительных добавках. Так, сдавая родных в дом престарелых, с ними привозят их старую чашку и любимые леденцы.

В тот день я встретил коллегу по Пушкинскому Дому Олега Витальевича Панченко. Зная Олега Витальевича как человека милосердного, я рассказал ему о встреченных в парадном рыбах. Подумав немного, он согласился им помочь. Мы решили, что вдвоем перенесем аквариум к Олегу Витальевичу, и отправились ко мне. Пока мы шли, я размышлял о том, как именно носят полные аквариумы. И носят ли их вообще. Когда мы вошли в мое парадное, выяснилось, что беспокоился я зря. Аквариум исчез. И если бы не капли воды на подоконнике, я бы, пожалуй, и сам засомневался, что он здесь когда-то стоял. Перед Олегом Витальевичем я, разумеется, извинился.

Через некоторое время в мою дверь позвонили. Эту был оператор станков с числовым программным управлением. Он спросил, нет ли у меня электродрели. Доставая дрель, я удивился, что ее нет у оператора. В его глазах я читал, что оператор тоже удивлен. По его представлениям, у такого, как я, не могло быть дрели. В сущности, он был прав, эта дрель досталась мне случайно.

— Моего соседа не стало, и я делаю ремонт, — пояснил оператор.

— Это не ваш аквариум стоял на подоконнике? — спросил я без видимой связи.

— Мой. Его забрала соседка по площадке.

Он успел спуститься на один пролет, когда я его все-таки окликнул:

— А что это были за рыбы?

— Пираньи, — сказал оператор и захлопнул за собой дверь.

Возможно, он боялся вопроса о том, что случилось с его соседом-алкоголиком. Которого, между прочим, попросту не стало.

Встречаясь на лестнице с его соседкой по площадке, я всякий раз испытываю облегчение. Мне приятно, что она продолжает здесь ходить. Вспоминая о растительных добавках, об основном рационе я стараюсь не думать.

Отец и сын

Профессор Б., сын покойного академика Б., очень любил своего отца. Когда о Б.-старшем писали плохо, Б.-младший принимал это близко к сердцу. Нервничал, перевозбуждался — как и положено сыну. Однажды об академике Б. написали как-то совсем уж плохо. Автор статьи (дама) высмеивала излишнее увлечение академика литературой соцреализма. Профессор Б. был расстроен в высшей степени. Находясь на публике, он позволил себе ряд горьких замечаний, пообещав, среди прочего, «выпустить автору кишки через нос». Разгорелся нешуточный скандал. Общественность возмутили как анатомические подробности проекта, так и сама по себе возможность угрожать женщине. Высказывание профессора Б. было признано неакадемическим, и его понизили в должности. Вмешательство научного сообщества оказалось своевременным. Своего намерения профессор так и не осуществил.

Петербургские зонтики

Сергей Сергеевич Аверинцев выступал с лекцией в Петербурге. Тогда (временно) — Ленинграде. И хотя лекцию он читал в помещении Пединститута им. Герцена, большинство его слушателей к этому учреждению не имели никакого отношения. Случались такие вещи в пединститутах. Когда лекция окончилась, вслед за Сергеем Сергеевичем слушатели вышли из аудитории. Они спустились за ним по лестнице и оделись в гардеробе. Вместе с Сергеем Сергеевичем слушатели дошли до Казанского собора.

— Когда-то этот собор казался мне неуместным в России, — сказал Сергей Сергеевич. — В высшей степени странным. А теперь я нахожу, что есть в нем свой смысл и своя трогательность.

Никто не возражал. Все молча смотрели, как между колоннами собора металась газета. Стояли ранние осенние сумерки. Внезапно пошел дождь, и все открыли зонтики. Все, кроме Сергея Сергеевича. Выяснилось, что в этот день он свой зонтик потерял.

— Удивительная вещь зонтик, — задумчиво сказал Сергей Сергеевич. — Все только и делают, что его теряют.

Слушатели согласились и стали предлагать ему свои зонтики.

Прошли годы, и многое изменилось. Сергей Сергеевич Аверинцев умер. Пединститут переименовали в университет, что, хочется верить, улучшило там образовательный процесс. На лекциях известных ученых сейчас сидят преимущественно студенты. Наступило время, когда каждый занят своим делом и не отвлекается на посторонние предметы. И профессоров после лекций больше не провожают. Выражаясь современным языком, у общества другие приоритеты. Но зонтики, как и раньше, теряют все. Парадокс состоит в том, что их по-прежнему никто не находит.

Малой кровью

Нигде не работается так хорошо, как в Отделе рукописей Публичной (ныне почему-то Российской национальной) библиотеки. Не в последнюю очередь оттого, что древнерусские рукописи я получаю там из рук Михаила Алексеевича Шибаева и Натальи Николаевны Невзоровой. Михаил Алексеевич — замечательный специалист в области древнерусской книжности. Наталья Николаевна тоже замечательный специалист, но, кроме того, она еще и красавица.

Однажды на моем столе перегорела лампа. Перегорела с хлопком, обратив внимание читателей на мою скромную персону. Все обернулись. Я продолжал сидеть ровно, слегка, может быть, наклонив голову. Я держался как человек, чью научную работу остановить невозможно. Мне казалось, что взрыв лампочки мог свидетельствовать в глазах читателей об интенсивности моего труда. Первой ко мне подошла Наталья Николаевна и сказала, что нужно заменить лампу. Я не возражал.

Разумеется, это могли сделать мужчины — Михаил Алексеевич или я, но они этого не сделали. Михаила Алексеевича в тот момент не было в Отделе рукописей, а я — я просто хотел посмотреть, как это сделает Наталья Николаевна. Мне нравится, когда красивые женщины в моем присутствии меняют лампочки.

Выкручивая лопнувшую лампу, Наталья Николаевна поранила палец. Кровь ее медленно капала на мой стол. Я проводил Наталью Николаевну до служебного помещения, где ей оказали первую (она же оказалась последней) медицинскую помощь. Наш с ней путь был отмечен равномерными алыми каплями на полу. Я понимал, что кровь эта в каком-то смысле проливается за меня. За возможность продолжения моей научной работы.

Через несколько минут Наталья Николаевна вернулась в читальный зал с забинтованным пальцем. Степень забинтованности пальца превышала все разумные пределы. Сотрудницы Отдела рукописей вложили в процесс бинтования все свои теплые чувства к Наталье Николаевне. Это был один из самых забинтованных пальцев, какие я видел.

Палец Натальи Николаевны был мне теперь живым укором. Почувствовав угрызения совести, я вышел из читального зала, чтобы пройтись по библиотеке. В одном из коридоров я встретил Михаила Алексеевича. Окинув меня взглядом, он спросил, отчего это я так задумчив.

— Да представляешь, — ответил я, — не сдержался и укусил

Наталью Николаевну за палец. Теперь вот расстраиваюсь.

Нужно сказать, что Михаил Алексеевич ценит мой юмор. Он улыбнулся и спросил:

— И почему же? Почему, спрашивается, ты ее укусил?

— Она слишком долго выдавала мне рукопись.

Я смахнул ненабежавшую слезу. Михаил Алексеевич похлопал меня по плечу. Он шел в буфет и находился в хорошем расположении духа. Я отправился работать.

Когда в читальный зал вернулся Михаил Алексеевич, я сидел за своим столом. Михаил Алексеевич помахал мне рукой и улыбнулся. Я ответил ему тем же. В эту минуту из служебного помещения вышла Наталья Николаевна и направилась к Михаилу Алексеевичу. Первым, что он заметил, был, конечно же, ее палец. Он бросил быстрый взгляд на меня, и я стыдливо опустил глаза. Мне стало жаль Михаила Алексеевича. Эта история его явно огорчила. Он пощипал себя за мочку уха и вышел из зала.

Потом Наталья Николаевна, конечно, рассказала ему, как было дело. И хотя рукописи с тех пор выдаются мне без промедления, Михаил Алексеевич уверяет, что ни на минуту не усомнился во мне. Он убежден, что специалист в области древнерусской литературы не способен укусить сотрудника библиотеки.

Вопросы литературы

Замечательный исследователь русской литературы Виктор Андроникович Мануйлов принимал экзамен. Вопрос, попавшийся студентке, касался Гоголя. Видя, что она испытывает определенные затруднения, преподаватель спросил, что именно ей больше всего запомнилось в «Мертвых душах».

— Отталкивающий образ Мануйлова, — ответила девушка.

Будучи джентльменом, Виктор Андроникович не стал ее поправлять. Для девушки фамилия героя по большому счету значения не имела, Виктор же Андроникович, со своей стороны, сразу догадался, о ком идет речь.

Анатомия истории

В научной среде сохранились воспоминания о профессоре Василии Васильевиче Бауэре. Он преподавал историю в Петербургском университете, Александровском лицее и на Бестужевских женских курсах. Силу Василия Васильевича студенты, лицеисты и курсистки видели в его умении построить фразу.

Говоря о Данте, Василий Васильевич подчеркнул однажды, что великий флорентиец «одной ногой стоял в Средневековье, а другой приветствовал зарю Возрождения». Порицая как-то Елизавету Английскую, проф. Бауэр отметил, что она «одной рукой подписывала смертный приговор несчастной Марии Стюарт, а другой проливала лицемерные слезы».

Ученики Василия Васильевича пережили несколько войн и революций. Они прошли через голод, террор и эмиграцию. Не греша против истины, можно предположить, что их исторический опыт определяли прежде всего события, связанные с Данте, Елизаветой Английской и Марией Стюарт.

Vox populi

Один студент-филолог никак не мог сдать зачет по физкультуре. Физкультура, как известно, не входит в число филологических дисциплин, но без сдачи этого зачета дальнейшее постижение учащимся филологии исключено. Это сделано для того, чтобы заставить филологов двигаться. И в этом есть свой резон: филологи малоподвижны.

В глазах преподавателей физкультуры (которые знают, что ничего, кроме добра, своим подопечным не несут) читается вечная обида. Их постоянно гложет подозрение, что их предмет студенты-филологи считают второстепенным. И это подозрение оправданно. Именно таким их предмет студенты и считают. Это, кстати, одна из причин, почему порой так трудно получить зачет по физкультуре.

Отчаявшись добежать (доплыть, допрыгать) до необходимого норматива, студент попросил преподавателя «просто поставить» ему зачет. Устало попросил. Даже изможденно.

— Как это — «просто поставить»? — удивился преподаватель. — Люди скажут, что вы дали мне взятку.

При слове «взятка» перестали скрипеть даже параллельные брусья.

— А сколько… люди скажут? — спросил после паузы студент.

Ответ преподавателя остался неизвестным. Не дожидаясь его, деликатные физкультурники покинули спортивный зал.

Газовый вопрос

Жил-был преподаватель истории КПСС Геннадий Иванович И. Он трудился в одном из вузов Украинской Советской Социалистической Республики. По свидетельству людей, знавших Геннадия Ивановича, на фоне других преподавателей он выделялся пышными усами и неумением выговаривать слово «конверторный». И хотя слово постоянно требовалось для рассказа о периоде индустриализации, политический урон от его непроизносимости университетское начальство не было склонно преувеличивать. В глазах начальства он компенсировался, возможно, усами преподавателя, напоминавшими усы героя Гражданской войны Семена Михайловича Буденного.

Несмотря на специфику своего предмета, человеком злым Геннадий Иванович не был. Не был и нелюдимым. На перекуре в туалете мог даже перебросится со студентами фразами, к истории КПСС напрямую не относившимися.

Выкурив однажды сигаретку, Геннадий Иванович подошел к писсуару и раскатисто пукнул. Никто из куривших не засмеялся. Преподаватель истории КПСС как бы олицетворял собой всю партию. А уж смеяться над партией (хоть бы и пукнувшей) не отваживался никто.

— Перезимуем! — произнес Геннадий Иванович, обернувшись к курильщикам.

Несмотря на загадочность заявления, прояснить его никто не попытался. Сигналы партии — откуда бы они ни исходили — в те годы было не принято обсуждать. Хотя жизнеутверждающий смысл высказывания присутствующим был, конечно же, ясен. Сам тон комментария (как и тон комментируемого события) говорил об общей стабильности ситуации и дальнейших расспросов не предполагал.

Раздумывая над этим случаем из истории КПСС, рискну предположить, что повторение его в настоящих условиях невозможно. Не потому даже, что такого предмета в украинских университетах больше не существует (по некоторым сведениям, освободившуюся нишу там теперь заняла история Украины). Просто в обстановке «газовой войны» таких смелых прогнозов о зимовке на Украине себе не позволит никто. Не говоря уже о том, что при среднегодовой цене в три сотни долларов за тысячу кубометров использовать газ так бездумно там просто никому не придет в голову.

Местоблюститель

Декан одного филфака боролся за здоровый образ жизни студентов. После 23:00 он приходил в общежитие и устраивал проверки. Если кого-либо в общежитии не оказывалось, он ложился на кровати отсутствующего поверх одеяла. И ждал. Койка под ним почти не скрипела, но соседи нарушителя режима знали, что декан не спит. Они тоже не спали, ведь, что ни говори, трудно уснуть рядом с деканом. В результате этих мер декан всегда имел возможность точно указать время появления владельца койки. Он мог с фактами в руках отчитать его, сказав, например: «Я ожидаю вас здесь с 23:00». Или: «Сейчас, между прочим, уже два часа ночи». Мог спросить: «Где вы проводили время до 5 часов утра? Почему я вынужден вас здесь дожидаться?» На последний вопрос в точности не мог ответить никто, но ходили слухи, что у декана были какие-то сложности в семейной жизни.

Русские звуки

В Мюнхенском университете я читал однажды курс лекций по древнерусской литературе. Читать попросили по-русски, чтобы изучающие славистику имели возможность послушать живую русскую речь. Как это обычно бывает, состав студентов не был постоянным. Время от времени появлялись новые лица. Иногда исчезали те, кто слушал с самого начала. Спустя время они снова возникали на прежних местах. Жизнь студента непроста (немцы здесь не отличаются от нас), она полна тревог и неожиданностей, а потому не следует осуждать студента за пропуски.

Я и не осуждал. Но не мог вместе с тем не отметить студентки, которая не пропустила ни одной лекции. Она сидела за первым столом и смотрела мне прямо в рот. Никогда еще мой рот не рассматривали так пристально. Ее голубые немецкие глаза фокусировались на нем с первой минуты лекции и больше уже не отрывались.

Отметив этот беспрецедентный в медиевистике случай, я старался сохранять спокойствие. Но об особенностях «Повести временных лет» мне рассказывалось уже не так безмятежно. Может быть, думал я робко, у меня такой особенный и даже красивый рот. Возможно также (чего не придет в голову во время лекции!), мои губы кажутся девушке чувственными. Не исключал я и того, что мои лекции посещает славистка с гипертрофированным интересом к поцелуям.

В самом конце курса я спросил девушку, почему ее так привлекает древнерусская литература. «Древнерусская литература меня не привлекает, — сказала она с акцентом. — Мне важно понять, как именно вы произносите все эти русские звуки». Звучало это неожиданно, но — не обескураживающе. Да, я не догадывался, что восприятие живой русской речи может быть таким беззаветным. Но всякий, кто выступает перед аудиторией, должен быть благодарен за внимание. Любое. Тем более выраженное столь явно. В наши дни, когда никто никого не слушает, внимание — большая редкость.

Искусство и действительность

Аза Феодосьевна Папина преподавала историческую грамматику, а Константин Гаврилович Деликатный (естественно) педагогику. Это были опытные и уже немолодые преподаватели, пользовавшиеся уважением коллег и студентов.

Однажды в аудиторию вошел Константин Гаврилович и объявил, что будет заменять Азу Феодосьевну. Это никого не удивило, ведь для исторической грамматики педагогика — вовсе не худшая замена. И повышение педагогического уровня будущих языковедов могло бы, в сущности, только приветствоваться. Но с первой же фразой преподавателя педагогики в аудиторию вошла Аза Феодосьевна. В ее глазах читалась готовность рассказывать об исторической грамматике.

— А я здесь… вас заменяю, — улыбнулся Константин Гаврилович из-за кафедры.

— Вот как? И почему же? — спросила Аза Феодосьевна.

Она не улыбалась.

— Потому что вы больны, — ответил Деликатный.

— Как видите, я здорова.

Пожав плечами, Константин Гаврилович издал звук сомнения.

— Я думаю, кто-то из нас должен оказаться рыцарем, — предположила Папина.

Ее взгляд сосредоточился на чем-то за окном.

— Но ведь были и женщины-рыцари. — Деликатный сдул с кафедры что-то невидимое. — Например, Жанна д'Арк.

Аза Феодосьевна смотрела на Константина Гавриловича в упор.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, — растерянно сказал Деликатный.

Выходя из аудитории, Папина не проронила ни слова.

Недавно я издал роман «Соловьев и Ларионов». Он, если кратко, о Соловьеве и Ларионове. Плюс множество картинок из научной жизни, частично совпадающих с представленными в настоящей книге. Включая приведенный диалог. Собственно, идея вспомнить эти сюжеты и восходит к роману, где они использовались вперемежку с вымыслом.

И вот что я замечаю. Лица, которые так естественно смотрятся в жизни, становясь персонажами романа, начинают робеть. Порой их просто невозможно ввести в повествовательную ткань. И даже будучи в эту ткань введенными, они путаются в ее складках, словно стесняясь своей недостоверности и как бы

избыточности. Иногда меняют имена, потому что автору кажется, что преподаватель, допустим, педагогики не может в литературном произведении носить фамилию Деликатный. Искусство боится искусственности. Оно имитирует реальность и избегает *странных сближений*. А между тем живет себе человек именно с такой фамилией и назло представлениям о реальном преподает как раз-таки педагогику, и посмеивается над литературой, и знает лучше кого бы то ни было, что правда чудеснее вымысла.

Без права на улыбку

Однажды мой коллега берлинский профессор Хайнц П. зевнул на заседании кафедры. Заседание — оно и в Берлине заседание, и ничего интересного на нем, конечно же, не услышишь. Вместе с тем профессор вовсе не собирался зевать демонстративно. Будучи человеком предпенсионного возраста, он вообще избегал привлекать к себе внимание. Особенно со стороны заведующего кафедрой, от которого зависели возможные сокращения. Так что профессор прикрыл рот ладонью и сделал всё, чтобы зевнуть украдкой. Зевая, он услышал хруст и почувствовал боль в челюсти. На мгновение ему даже показалось, что рот не закрывается. Это (думал зевнувший) было бы слишком нелепо.

Все сидели за огромным П-образным столом. Профессор осторожно посмотрел по сторонам и убедился, что его соседям хруст слышен не был. Бывают, как известно, звуки, которые слышишь только изнутри. Вот только рот его действительно не закрывался. Постепенно к берлинскому профессору пришло осознание того, что, зевая, он вывихнул челюсть.

К руке, прикрывавшей рот, он добавил еще одну. Теперь он сидел как бы в задумчивости. Он чувствовал, как натянулась кожа на скулах, и понимал, что даже ладони его не спасают. Что в его лице не было непринужденности. Умиротворения того, кто проводит руками по лицу. Было совершенно очевидно, что так мог сидеть только человек, вывихнувший челюсть во время зевка. «Вам с нами так скучно? — был бы вправе спросить завкафедрой. — Послушайте, дружище Хайнц, в конце концов, вас ведь никто не заставляет ходить на заседания. Просто не знаю, что я могу для вас сделать. Хотите, я вас сокращу?»

Нет. Этого Хайнц не хотел. Он взял со стола папку и прижал ее к открытому рту. Его нос вдыхал запах потертой кожи. Профессор вспомнил изваяние Лаокоона, оплетенного змеями. Даже в критической ситуации Лаокоон не позволил себе широко открыть рот, потому что это искажало гармонию лица. Он приоткрыл рот совсем чуть-чуть — так только, чтобы глотнуть воздуха. Рот же не оплетенного змеями профессора был открыт до неприличия. О рте Лаокоона писал Готхольд Эфраим Лессинг, который, в отличие от Хайнца П., в свое время так и не смог зацепиться в Берлине. Но это преимущество профессора уже не радовало. Участники заседания видели поверх папки его грустные глаза. Глаза, полные беспокойства. Все почувствовали, что с коллегой происходит какая-то драма. Суть ее, однако, была всё

еще неясна.

Распределяя спецкурсы, завкафедрой поручил один из них Хайнцу П. Профессор кивнул. «Когда вы сможете сдать план этого курса?» — спросил завкафедрой. На такой вопрос нельзя было ответить кивком. Профессор отодвинул папку и показал на свой рот. Наступила абсолютная тишина. Все напряженно смотрели в рот профессора. При внимательном разглядывании стало очевидно, что в левом нижнем ряду не хватает одного зуба. Раньше этого как-то не замечали… Скрипнуло несколько стульев, но молчание по-прежнему никем не нарушалось. Есть ситуации, когда нужные слова приходят на ум не сразу.

«Так», — сказал завкафедрой. Подумав, он добавил: «Обмен мнениями, значит, не состоится». Хайнц П. кивнул. Минут через двадцать за ним приехала «скорая помощь». Вправить челюсть на месте не удалось, и его повезли в больницу. Он был настолько удручен, что даже не пытался прикрыться. С открытым ртом профессора вели через длинный университетский коридор. У встречных студентов рты становились такими же.

В сущности, мой коллега был человеком с чувством юмора. Он был вполне способен пошутить над собой и тем самым в значительной мере разрядить ситуацию. Беда в том, что в некоторых случаях не получается произнести ни-че-го. Невозможно даже улыбнуться.

По счастью, Хайнц П. был застрахован — как и все немецкие профессора. В противном случае оплату медицинских услуг (в Германии весьма дорогих) пришлось бы требовать у университета. При этом пришлось бы доказывать, что имела место производственная травма по причине ненадлежащей организации работ в университете. Для всех принимавших участие в заседании это было бы в высшей степени обидно.

Правда о Шлимане

Писавшие о Генрихе Шлимане порой отмечали его «патологическую лживость». Под этим беспощадным словосочетанием понимались определенные расхождения между тем, что Шлиман рассказывал о себе, и «объективной реальностью». В этой реальности Шлиман никогда, например, не был на приеме у северо-американского президента и не видел пожара в Сан-Франциско, хотя охотно об этом упоминал. Он никогда не был директором Государственного банка в Петербурге, хотя при случае не останавливался перед тем, чтобы указать эту должность в своей подписи. Но «объективная реальность» и не была для Шлимана истинной мерой.

Гораздо более важной являлась для него категория реальности субъективной, с которой его слова не расходились. Именно эта, субъективная, реальность заставила его убеждать случайную парижскую собеседницу в том, что он родился в Москве. Удивляясь собственной горячности в отстаивании этого тезиса, Шлиман записал в дневнике, что за время беседы он «до того с этим свыкся, что и сам наконец стал думать о себе как о москвиче».

В другой раз Шлиман описывает, как во время его поездки в Рим (1858 год) случайно встретившийся ему у собора Св. Петра человек в течение трех часов правит текст, написанный Шлиманом по-итальянски. Невероятной история могла бы выглядеть уже хотя бы потому, что этим человеком оказывается выдающийся итальянский филолог кардинал Анджело Маи. Не добавляет ей достоверности и то, что Маи умер в 1854 году, т. е. за четыре года до исторической встречи со Шлиманом. Но самым невероятным в этой истории кажется то, что записана она Шлиманом в *дневнике*. Я думаю, после этого ни у кого не повернется язык назвать Шлимана лжецом, как, кстати говоря, ни один ответственный человек не назовет лжецом его соотечественника Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена.

Смягчая жестокие обвинения в адрес Шлимана, замечательный петербургский антиковед Александр Константинович Гаврилов предлагает разумный выход: «Скажем лучше так: Шлиман не любит всем и всегда рассказывать одно и то же»[1]. Возвращаясь в конце книги к вопросу о «патологической лживости» Шлимана, Александр Константинович уточняет: «Уместнее было бы сказать, что Шлиман не был патологически правдив»[2]. Эту книгу я бы рекомендовал прочесть всем, кто интересуется Шлиманом. Я бы рекомендовал ее также тем, кто

хочет узнать, что такое блестяще написанная книга.

Меня самого в истории Шлимана удивляют не фантазии. Гораздо более фантастическим мне кажется то, что можно назвать реальностью его жизни.

Иоганн Людвиг Генрих Юлиус Шлиман (1822–1890), пятый сын в семье мекленбургского пастора, двадцати лет от роду покидает родные края и решает эмигрировать в Венесуэлу. Корабль терпит крушение у берегов Голландии, и Шлиман оказывается в Амстердаме, где устраивается конторским служащим. Там он изучает голландский, испанский, итальянский и португальский, совершенствуя английский и французский. Мало-помалу Шлиман вырабатывает собственную систему изучения языков, которой затем следует всю жизнь. В один прекрасный день приходит черед русского. Его Шлиман изучает по добытой им грамматике, причем в качестве текста для чтения использует, судя по всему, «Тилемахиду» В. К. Тредиаковского. Отчаявшись найти носителя языка, способного исправлять его устную речь, Шлиман нанимает бедняка, которому платит за то, что тот присутствует при декламации «Тилемахиды» наизусть. Слушатель по-русски не понимает, и эксперимент оканчивается для него благополучно. Шлиман приезжает в Петербург и уже через год открывает там собственный торговый дом. В ходе Крымской войны он поставляет в русскую армию свинец, серу и селитру. Живя в России, изучает польский, словенский, датский, шведский, ново- и древнегреческий, латынь, арабский, персидский, хинди и санскрит. За 20 проведенных в Петербурге лет Шлиман становится миллионером. Он оставляет предпринимательскую деятельность и уезжает из России. Его манит Троя. В отличие от большинства «цеховых» ученых, он верит в то, что ее можно найти по описаниям Гомера. И он ее находит. В последнее двадцатилетие своей бурной жизни Шлиман успевает изучить турецкий и древнееврейский.

Чему нас учит жизнь Генриха Шлимана?

Профессиональное научное сообщество — смирению. Оно смеялось над преуспевающим предпринимателем, считая его внекоммерческие увлечения чудачеством. Этот *enfant terrible* мировой науки всё в своей жизни делал не так. Он неправильно изучал языки и наивно полагал, что эпос отражает пресловутую «реальность». Ему было дано по его вере. Языки он выучил так, что на большинстве из них мог говорить вполне свободно, и — что важнее всего — он все-таки раскопал Трою.

Нашему состоятельному классу Шлиман продемонстрировал, что, даже приближаясь к пятидесяти годам, не поздно заняться настоящим делом. Многим нашим олигархам нет пятидесяти.

Получается, что у них еще есть время для размышлений.

И наконец, всем нам Шлиман доказал главное: для человека нет ничего невозможного.

Римские каникулы

Дмитрий Сергеевич Лихачев рассказывал мне, как в советское время ездил однажды в Италию. Ездил в компании Б., директора одного института. По натуре Б. был человеком нежадным, даже по-русски широким, но в условиях загранкомандировки эти качества ему проявить никак не удавалось. Он экономил, чтобы купить подарок жене. Б. отказывал себе в самом необходимом и на предложения Лихачева посетить тот или иной музей отвечал продолжительным медным взглядом. По музеям Дмитрий Сергеевич ходил один, что его, в сущности, не тяготило.

В собор Святого Петра Б. решил Лихачева сопровождать. Возможно, он полагал, что без посещения Ватикана его поездка в Рим не может считаться полноценной. Может быть, он также смутно надеялся, что в собор как в учреждение религиозное вход окажется бесплатным. В этот день Б. был по-настоящему счастлив. Он восторгался богатством и размерами собора. По винтовой лестнице он поднимался на купол и смотрел оттуда на Вечный город. Спускаясь, Б. бросился обнимать ничего не понимавших немцев и несколько раз прокричал им: «Братцы, как здорово!» Лестница оказалась узкой, уйти немцам было некуда, и они вежливо внимали русскому путешественнику.

На площади Святого Петра предлагались прогулки на лошадях. Выросший в деревне, Б., естественно, захотел тоже прокатиться. Когда выяснилась стоимость катания, Б. от затеи отказался. «Почему, — кричал он Лихачеву, — почему русский доктор наук не может себе позволить прокатиться на лошади?!» Но даже это не могло его расстроить всерьез.

Расстроился он на следующий день. Это был последний день пребывания в Риме, когда Б. на сэкономленные деньги собирался купить подарок жене. По случаю католического праздника магазины в этот день оказались закрыты. Видя, как бурно горюет Б., итальянский профессор Колуччи сказал, что даже в католические праздники работают сувенирные лавки на вокзалах. Итальянец взял у Б. сэкономленное и отправился на вокзал. Он готов был сделать всё, чтобы его русский коллега не уезжал домой огорченным. Но именно по возвращении Колуччи и разразилась буря.

Жене Б. профессор Колуччи купил платки. Несколько газовых платков — в полном соответствии с модой того времени. Он передал их Б. вместе со сдачей. Рассказывая об этом спустя годы, Лихачев так и не мог объяснить, почему именно платки произвели на Б. такое угнетающее впечатление. Увидев их, Б.

отшатнулся и взмахнул рукой. Искрящимися итальянскими монетками по тротуару брызнула сдача. «Да зачем мне эти… платки?!» — прокричал по слогам Б. Вопрос был явно риторическим. Не отвечая на него, Лихачев и Колуччи собирали на асфальте сэкономленную Б. мелочь. Они даже не стали спрашивать, каким именно исследователь видел свой подарок жене.

Двойные стандарты

Будучи однажды в научной командировке в Милане, я во время прогулки по городу зашел в общественный туалет. Потому что даже в научных командировках позволяешь себе прогулки, предусматривающие кофе, пиво и другие приятные напитки. Потом — обычная история — ищешь туалет. Подобные истории случались со мной в Германии, в Англии и даже во Франции, где работниц общественных туалетов называют «мадам Пипи2». Повторилась она и в Италии.

У Италии есть одна особенность: на иностранных языках там говорят крайне неохотно. Что, в сущности, и понятно — владея итальянским, на другие языки переходить просто смешно. Применительно к туалету, впрочем, это особого значения не имеет, поскольку стоимость посещения вывешена при входе, а порядок действий известен каждому. Это были еще времена хождения лиры. Заплатив указанные на плакате 400 лир (что уже само по себе настраивало на лирический лад), я вошел в туалет. Через непродолжительное время — при попытке туалет покинуть — я был задержан.

Невзирая на трудности перевода, служительница потребовала у меня 400 лир. Как в старом анекдоте («иностранец жестами объяснил, что его зовут Хуан»), я, в свою очередь, попытался довести до нее более сложную информацию о том, что 400 лир я уже заплатил. Мне было странно, что она забыла об этом так быстро. Энергичным итальянским движением женщина ткнула в плакат пальцем, и я увидел на нем мелкое примечание, упоминавшее в непонятном мне контексте 800 лир. Было от чего прийти в растерянность. Кому, спрашивается, в этом туалете предъявлялся двойной счет? Посетителям старше 18 лет? Лицам мужского пола? Нечленам профсоюза? Наконец — имея в виду двойные стандарты, — может быть, это была особая цена для граждан Российской Федерации?

Я пожал плечами и полез за кошельком. Вопрос не казался мне существенным, и я был готов заплатить. Но — пожал плечами. Этот жест мою собеседницу просто-таки вывел из себя. Она сплющила мой кошелек между моими же руками и сделала мне знак обождать. Через мгновение она появилась с другой женщиной. Та немного говорила по-английски и тут же объяснила мне суть дела.

— 400 лир — это по малой нужде, — сказала она, сведя большой и указательный пальцы. — А 800, — она широко развела руки, — по большой.

Сотрудница туалета кивнула. Сколь разными бывают нужды, она знала, как никто другой.

— Но ведь я ходил по малой нужде, — скромно сказал я. — Дело здесь не в 400-х лирах: я действительно ходил по малой нужде.

И я приблизил большой палец к указательному. Увидев мой жест, сотрудница туалета хлопнула себя по бедрам. Речь ее была краткой, но пламенной.

— Она говорит, — сообщила мне переводчица, — что нарочно проследила за тем, куда вы пойдете. И вы пошли не к писсуару, а в кабинку.

Это было правдой. Туалет — не то место, где я поощряю коллективизм.

— Но в кабинку, — я чувствовал, что спор становится принципиальным, — я ходил по малой нужде.

Сотрудница туалета закатила глаза и заговорила тихо и быстро.

— Она не может ни подтвердить вашего заявления, ни опровергнуть, — сказала переводчица. — Но сам факт посещения кабинки автоматически приравнивается к большой нужде.

Я протянул своему оппоненту деньги и опять пожал плечами. Я сказал, что двойной тариф кажется мне странным, и моя фраза была переведена. Сотрудница туалета тоже пожала плечами, но в этом пожатии не было удивления. В нем было только негодование. Она с силой вложила мне мои деньги в кулак. Я улыбнулся переводчице и отдал деньги ей.

— Ее огорчает ваше непонимание, — сказала переводчица. — В таких обстоятельствах она просто не может взять ваши деньги. Хотя, в свою очередь, не хочет понять и вас.

Мне было грустно, что мы расстались подобным образом. Я думаю, многие беды происходят от непонимания.

Пристрастие к Броделю

Как-то раз с группой немецких богословов я приехал в Женеву (для начала путевых заметок фраза, по-моему, подходящая). Справедливости ради замечу, что не был при этом ни богословом, ни уж тем более немцем. Просто жизнь оборачивается иногда таким образом, что к событию трудно дать какой-то комментарий.

Знакомивший нас с Женевой человек рассказал среди прочего поучительную историю. Выдающийся французский историк Фернан Бродель, отправляя своего ученика в Лондон, произнес будто бы следующую фразу: «Не знаю, сможете ли вы составить представление об Англии, но о Франции вы составите представление наверняка». Несмотря на то что эти сведения были предоставлены вне всякой связи с достопримечательностями Женевы, восприняты они были вполне сочувственно. Немцы, которые, по моим наблюдениям, вообще питают слабость к афоризмам, чувствовали себя в какой-то степени учениками Броделя: в Женеве они были (в какой-то степени) иностранцами. Приехав в Женеву из Германии, я ощущал себя дважды иностранцем и составлял представление о двух оставленных мной странах одновременно.

В то утро мы видели знаменитые цветочные часы и радугу над огромным фонтаном посреди озера. Яхты, экзотические деревья на набережной, кукольные домики на берегу. Совершенно неожиданно — здания, подозрительно напоминающие наши хрущевки, и притом в большом количестве. При взгляде на них представление о России составлялось как бы само собой.

В середине дня нас принимали в женевском филиале ООН и рассказывали о современных задачах организации. Ведущая встречи предложила задавать вопросы, но вопросов было мало. Помолчав, она сказала: «Мне хочется поделиться с вами одной примечательной историей». Это было сообщение о том, как французский историк Фернан Бродель отправлял своего ученика в Лондон. Во время рассказа я смотрел на лица немецких богословов: на них не отражалось ни малейшего неудовольствия. «Эта история здесь популярна, не правда ли?» — сказал мне на улице один из них. И я не мог с ним не согласиться. То, чего я за десятилетия жизни в России не слышал ни разу, в Женеве за один день мне сообщили уже дважды.

На следующее утро была запланирована встреча во Всемирном совете церквей. В ожидании встречи с председателем Совета референт-индиец рассказывал о межконфессиональном

диалоге. Пользуясь паузой, я вышел купить себе кофе. Когда я вернулся с пластмассовым стаканчиком, референт уже обращался к аудитории, полуприсев на стол. Обстановка была явно неформальной. Индиец бросил на меня взгляд и продолжил: «… не знаю, сможете ли вы составить представление об Англии, но о Франции вы составите представление наверняка». Я чувствовал, как горячий напиток растекался по моим пальцам. Немцы сдержанно улыбались. Последний раз эту историю мы услышали в тот же день в главном офисе Красного Креста.

Рассказ об историке Броделе стал моим главным женевским впечатлением. Я никак не мог понять, почему именно он настолько овладел умами живущих здесь людей. Не посягая на *bon mot* французского историка, я припоминаю не менее парадоксальные высказывания, которые, однако же, не повторялись с подобной беззаветностью. Было ли в этом что-то созвучное одной лишь Женеве, будоражили ли женевцев фрейдовские обертоны фамилии историка — до сих пор остается неясным.

Впоследствии в одной из работ Броделя я встречал этот англо-французский сюжет, но там он излагался в общей форме и безотносительно к поездке ученика. Не исключаю, что впервые он возник именно на бумаге. Впоследствии, возможно, этот абстрактный пример Броделю так понравился, что в разговоре с учеником он благословил его в афористической форме. Может быть, даже нарочно послал ученика в Лондон, чтобы произнести при этом полюбившуюся фразу. Допустимо, наконец, что он использовал выражение неоднократно, а все отправленные им в Лондон ученики сочли своим долгом приехать затем в Женеву и подробно об этом рассказать.

Дикие люди

Рудольф Фердинандович Итс был директором академического Института этнографии и антропологии, в широких кругах более известного как Кунсткамера. В аспирантуре этого института учился иракский курд Анвар К., который собирался со временем защитить кандидатскую диссертацию. Кроме того, в России он скрывался от преследований Саддама Хусейна. Вторую задачу Анвара Рудольф Фердинандович считал не менее важной, чем первую, и всячески выказывал ему свое расположение. Однажды он подарил ему свою книгу с подписью «Дикому курду от дикого эстонца».

Рудольф Фердинандович давно умер, а Анвар переехал в Швецию. Американцам Анвар доверяет еще меньше, чем Саддаму Хусейну, и домой, судя по всему, не собирается. Когда ему становится грустно, он листает книгу Рудольфа Фердинандовича Итса.

Ошибка рецензента

Недавно наша научная общественность зачитывалась статьей в издании с непритязательным названием «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов». Никогда прежде этот курский журнал не пользовался таким вниманием прессы. Никогда еще со времени внедрения в нашу жизнь Интернета научная статья аспиранта не разыскивалась с таким упорством. Сейчас ее название знают все: «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Знают и ее автора — Михаила Сергеевича Жукова.

О чем статья — в точности сказать не может никто, включая упомянутого автора. Ведь Михаил Сергеевич Жуков, выражаясь по-булгаковски, — лицо, существующее исключительно в воображении Михаила Сергеевича Гельфанда, заместителя директора Института проблем передачи информации им. А.А.Харкевича. Именно М.С.Гельфанд, а не М.С.Жуков, обеспечил электронный перевод бессмысленного текста, синтезированного в Массачусетском технологическом институте. И не кто иной, как М.С.Гельфанд, в полном соответствии с компетенцией своего института, передал имевшуюся информацию в курский журнал, где, с учетом замечаний рецензента, ее и опубликовали.

Текст оказался так хорош, что, помимо аспирантского журнала, его (со ссылкой, разумеется, на источник) воспроизвели во множестве изданий. Среди прочего, в нем выделялось замечание о том, что «ключевая пара “общественное — частное” и красно-черные деревья редко совместимы, поскольку обычные методы визуализации не могут быть применимы в этой области». Достойным внимания казался и совет «обратить внимание на то, что развертывание 16-разрядной архитектуры скорее, чем эмуляция ее в программном обеспечении, приводит к менее зубчатым и более воспроизводимым результатам».

Наиболее воспроизводимым результатом действий обоих Михаилов Сергеевичей стала ураганная и абсолютно обоснованная критика в адрес Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки (ВАК). Это она благословила деятельность курского журнала путем включения его в свой «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий». Поясню здесь, что тот, кто хочет защитить кандидатскую или докторскую диссертацию, должен публиковать свои работы в изданиях, упомянутых в «Перечне» ВАК. Было это задумано с целью вывести за пределы научного процесса разного рода сомнительные издания. Несмотря на благие намерения (известно ведь, с какими

они связаны дорогами!), внимание как раз таки этих изданий нововведение в первую очередь и привлекло. В «Перечень» они, как водится, пробились, а пробившись, начали брать деньги за публикацию в них научных — и не очень — работ. И стали у них печататься и, соответственно, платить, ведь защищаться-то (вот он, коррупционный ресурс) нужно. Именно в таком, платном, журнале опубликовал свой труд М.С.Жуков. Хотя защищаться, в сущности, и не собирался.

В ходе обсуждения этой истории много справедливых слов было сказано о реликтовой природе ВАК. О том, что существование этой организации в настоящем ее виде нежелательно, как нежелательно, впрочем, и полное ее упразднение. Обсуждались качество наших научных журналов, уровень диссертационных исследований и даже нравственная сторона поступка Жукова-Гельфанда.

Меньше почему-то говорилось о том безымянном человеке (по некоторым сведениям, преподавателе одного из московских вузов), который на рассматриваемую статью написал рецензию. Всё было бы гораздо банальнее, если бы он попросту пренебрег своими обязанностями и выдал рецензию на нечитаную статью. Так ведь нет же. Неведомый труженик не только прочитал жуковский текст, но и внес в него целый ряд поправок.

Его не смутил пункт, скажем, 3, согласно которому «64 *PDF* 11 были развернуты по всей сети Интернета и проверена чувствительность к эффекту “византийского дефекта”», ведь, как ни крути, это не противоречило пункту 4, констатировавшему, что было «выполнено 18 попыток с имитируемой рабочей нагрузкой *WHOIS* и результаты сравнены с имитацией обучающего программного обеспечения». Ввиду того, очевидно, что человек украшает фамилию, а не наоборот, его не насторожила даже ссылка М.С.Жукова на исследователя К.Софтпорна.

Неприятие рецензента вызвало образное — даром что машина — предположение автора о том, что его «подход превращает кувалду связей базы знаний в скальпель». Сразу же последовало замечание: «Стиль изложения может быть хорош для газетной статьи, не для научной!» Вообще говоря, статья М.С.Жукова произвела на рецензента «двоякое впечатление». С одной стороны, рецензент признает, что «материал собран методически грамотно, в работе присутствует новаторство и новизна». С другой — жалуется, что статья оставляет у него «впечатление какой-то незавершенности работы».

Легче всего посмеяться над рецензентом, да только — стоит ли? Допускаю, что в областях, не связанных с корчевателем, он

является вполне квалифицированным исследователем. Вина этого человека, возможно, лишь в том и состоит, что он побоялся показаться некомпетентным: не знает, мол, «византийского дефекта». Поди его разбери, этот дефект. Ведь если Византийская империя пала, стало быть, не обошлось без дефекта. Примерно так мог рассуждать этот человек.

Даже если его рецензия была ошибочной, он сумел продемонстрировать миру, что логика синтаксических связей вполне способна заменить логику текста. Изредка (например, в выступлениях Виктора Степановича Черномырдина) тексты могут обходиться вообще без синтаксических связей и быть тем не менее популярными. Возможно, именно это и хотел донести до нас рецензент. В конце концов, если его коллеги-литературоведы видят смысл в текстах концептуалистов, почему этого смысла он не мог видеть в статье о корчевателе? Точно так же, как вполне осмысленным кому-то может представляться «анализ русской натурфилософии в ракурсе ее сопричастности — как тематически, так и методологически — интердисциплинарно релевантному проблемному полю, сопрягшему в себе гетерогенные и, на первый взгляд, альтернативные (по меньшей мере обычно сочетаемые дизъюнктивно) исследовательские стратегии, присущие современному уровню развития философской мысли». Последняя цитата не из «Корчевателя». Это фрагмент философского исследования, о котором мне случилось писать в одной (да-да!) рецензии.

Из сказанного следует, что текст статьи о корчевателе никоим образом нельзя называть бессмысленным. Неизвестный рецензент — если я правильно понимаю его истинные намерения — затронул тему в высшей степени важную. Речь идет уже не о курском журнале (его оперативно выбросили из «Перечня») и даже не о реформе ВАК (она необходима). Дело касается понимания как философской проблемы. Открывшихся возможностей обретения смысла там, где его, на первый взгляд, нет. Есть слова, значение которых проясняется через десятилетия, а то и века. Ведь любой текст — будь то компьютерный самоучитель, т. н. «вакуумная» поэзия, инструкция по сборке мебели, предписания Минобрнауки или то, что произносится ведущими ток-шоу, — имеет свой смысл, пусть до поры и неочевидный. Есть множество загадочных текстов. И они ожидают своего часа. И рассказ о корчевателе в этом ряду не кажется такой уж экзотикой.

Ученые — строителям

Те, кто въезжает в Киев с восточной стороны, на высоком берегу Днепра видят цельносварное сооружение из нержавеющей стали (высота с постаментом 102 м). В путеводителях оно обозначается как монумент-скульптура «Родина-мать». Поскольку сооружение безнадежно испортило вид на Киево-Печерскую лавру, многие киевляне «Родину-мать» называют «Лаврентьевной». На открытии памятника в 1981 году, сходя фактически в гроб, успел поприсутствовать Л.И.Брежнев.

В то далекое от нас время, когда талант З.К.Церете ли только мужал, монументальную скульптуру в СССР развивал Е.В.Вучетич. Евгений Викторович, ушедший из жизни до Леонида Ильича, оставил, однако, Киеву монументальный проект, предусматривавший у подножия «Родины-матери» (у Вучетича она была существенно выше) 30-метровый водопад. По обе стороны водопада замышлялись циклопического размера воины, по-роденовски непринужденно выходящие на склоны Днепра.

И со скульптурной, и с градостроительной точек зрения проект был, мягко говоря, небесспорным. Вместе с тем авторитет Вучетича у властей был так высок, что даже после его смерти споры с ним были нежелательны. Выслушивая разные мнения о проекте, власти были, в сущности, склонны его одобрить. Возражения эстетического и историко-культурного порядка большого впечатления на них не производили.

По одной из рассказанных мне в Киеве версий, ситуацию якобы спас какой-то академик-архитектор. Взывая к коллективной мудрости украинского ЦК, этот старичок призвал задуматься над одной немаловажной деталью: если предполагается, что из Днепра станут выходить обнаженные люди высотой в десятки метров, то какого же размера у них должен быть срам? Сейчас уже трудно сказать, кто, по слову классика, «нам помог» — протесты общественности, дороговизна материала или целомудрие украинского ЦК, — но факт остается фактом: «Родину-мать» в Киеве понизили, а водопад с воинами убрали.

Спустя годы аналогичная ситуация сложилась в Петербурге. С маниакальной настойчивостью в городе пытались построить 400-метровый небоскреб в форме кукурузы. Многочисленные протесты архитекторов, историков культуры, философов, филологов и юристов несколько лет оставались без внимания.

В какой-то момент, однако, появилась надежда, что и в этой истории, подобно киевской, поможет свежий взгляд на вещи. Его предложил профессор Лев Моисеевич Щеглов, питерский

сексолог и телеведущий. По мнению профессора, мечта построить сооружение указанной формы скрывает под собой глубинные психолого-сексуальные проблемы. Лев Моисеевич также справедливо полагал, что подобные проблемы нужно решать у специалиста.

От строительства «Охта-центра» в конце концов отказались. Это решение (как, впрочем, и решение о строительстве) не сопровождалось особыми пояснениями, но слово науки сыграло здесь, возможно, не последнюю роль. Если заявление профессора Щеглова я понимаю правильно, он способен оказать помощь любому, кого замучили мечты о небоскребах.

Подземный мир

В Петербурге я живу у станции метро «Спортивная». Название столь же яркое, сколь и редкое. Первоначально предполагалось, что станция будет называться «Тучков мост» (у этого моста она расположена), и в мечтах мне уже слышалось, как, давая свой адрес, я произношу два симпатичных слова. Но, как пелось в одном романсе, «и может быть, мечты мои безумны»: «Тучковым мостом» станция не стала. В то время городской администрацией вынашивалась идея провести в Питере Олимпийские игры 2004 года. Ввиду близости стадиона и Дворца спорта станцию решили назвать «Спортивная».

С Олимпиадой не сложилось. Вероятно, на фоне общего состояния дел в городе спортивный топоним не произвел на отборочную комиссию никакого впечатления. Мечты об Олимпиаде (еще раз сошлюсь на упомянутый романс) ушли, но «Спортивная» — осталась. И я решил обратиться к моему коллеге по Пушкинскому Дому академику Александру Михайловичу Панченко. В девяностые годы Александр Михайлович возглавлял Топонимическую комиссию. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это был лучший председатель комиссии за всё время ее существования. Встретив академика в коридоре Пушкинского Дома, я спросил его, нельзя ли «Спортивной» присвоить то название, которое предполагалось при ее проектировании. Александр Михайлович грустно покачал головой: «Знаете, это — подземный мир. С этим трудно что-либо сделать».

С тех пор труднопреодолимые и, в общем, малоприятные обстоятельства в моем сознании прочно связались с подземным миром. Определение вышло для меня далеко за пределы Петербургского метрополитена. В череде событий, разрушающих метафизику города, «Спортивная» оказалась самым невинным. Ну, хотели провести Олимпиаду, ну, заказали мозаики на олимпийскую тему. Не отбирать же у кого-то дорогостоящий заказ. В конце концов, звуковая реклама в метро давит на психику гораздо сильнее олимпийской мозаики.

Фраза Александра Михайловича встала передо мной в полный рост, когда на одной оси с Петропавловской крепостью построили «Петербургский Монблан» — огромных размеров сооружение, непонятно (или понятно?) как добившееся разрешения на свой жуткий экзистенс. Глядя на то, как этаж за этажом подрастал этот монстр, я уже не сомневался в его происхождении. Взламывая асфальт и окружающие дома, на

всеобщее обозрение выходил подземный мир.

Оказавшись на поверхности, подземный мир начал рваться в небеса. Это стало понятно с объявлением конкурса на строительство газпромовского небоскреба. Сначала проект назвали «Газпром-сити», затем название изменили на «Охта-центр». Не решились, видимо, обозначить подземные (газ все-таки) источники финансирования. Оба названия в высшей степени китчевые и безвкусные — как, впрочем, и сама идея строительства небоскреба в Петербурге. В городе сложилось мнение, что подобная идея могла посетить только того, кто лишен глаз. Или головы. Или никогда не выходил на поверхность. Глубоко подземная идея.

Вредные привычки

Академик Александр Михайлович Панченко однажды пригласил меня на заседание Топонимической комиссии Петербурга. Комиссия занималась тогда возвращением улицам исторических названий. Речь в тот день шла о переименовании улицы Щорса в Малый проспект Петроградской стороны. Некоторым исконное название казалось слишком длинным.

— Раньше, — говорили они, — можно было дать домой телеграмму: «Ленинград. Щорса». А сейчас — извольте: «Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны», потому что есть и Малый проспект Васильевского острова.

— Так не во всяком городе есть два Малых проспекта, — возражали им. — Тоже ведь понимать нужно.

Больше всех горячился пожилой представитель компартии. Расставаться со Щорсом ему не хотелось. Его уговаривали, напоминали, что еще пол-Питера носит коммунистические названия, что существует, к нашему общему стыду, даже улица Белы Куна, которого за зверства в Крыму любой трибунал признал бы военным преступником.

Так или иначе все выступления были обращены к Панченко. Не как к председателю комиссии даже, а как к выдающемуся ученому. Но Панченко молчал. Кому-то вспомнились красивые слова из песни о Щорсе:

Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый тянется
По сырой траве.

Представитель компартии зачитал подробную справку о Щорсе с экскурсом в историю Гражданской войны. Вспомнился, конечно, и другой куплет:

В голоде и холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.

Помолчали. Не видя реакции Александра Михайловича, выступавший кратко проинформировал присутствующих о

перспективах мирового коммунистического движения. Панченко слушал, опустив голову. Академического спора не получалось.

— В конце концов, — крикнул поклонник комдива, — сотни тысяч людей называли эту улицу улицей Щорса! Почему вы топчете их привычки?

— Так ведь есть и привычка в носу ковырять, — тихо заметил Панченко.

Аргумент оказался исчерпывающим. Он подвел итог ожесточенному спору, и улицу переименовали.

Годы спустя, уже после смерти Панченко, мне пришлось еще раз присутствовать на заседании Топонимической комиссии. В тот раз безымянной набережной против Пушкинского Дома комиссия отказалась присвоить имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ученикам Лихачева дали понять, что такое наименование вряд ли совпадет со вкусами тех, кто в эту набережную будет «вкладываться». Песен на этот раз уже никто не вспоминал: время стало прагматическим, да и лица присутствующих были совсем другими. Замена Александру Михайловичу была явно неравноценной.

С уходом Панченко процесс возвращения исторических названий сошел на нет. До сих пор в самом центре города преспокойно существуют улицы, носящие имена Ленина, Воскова, Блохина и многих совсем уж ныне забытых участников революционного террора — в боевой компании с улицами Красного Курсанта, Пионерской и т. п. Под этими именами и кличками ведут свое призрачное существование Широкая, Матвеевская, Большая Белозерская, Церковная, Большая Спасская, Большая Гребецкая и другие улицы, чьи старые и прекрасные имена никто не возвращает.

Говорят, что дело теперь не в Топонимической комиссии, а в том, что городские власти слишком привыкли к названиям советским. Не исключено также, что в отсутствие Александра Михайловича для возвращения исторических названий властям просто не хватает аргументов.

Мало приятного

Выдающийся литературовед Ф. в конце жизни разговаривал сам с собой. Это ни в коей мере не указывало на его (не вижу, мол, достойного собеседника) заносчивость, потому что Ф. находил возможность разговаривать и с другими. В сущности, то, что в данном случае называли беседой с самим собой, было скорее мыслями вслух, произносившимися негромким голосом. Таким голосом в театре произносят реплики с ремаркой «в сторону». Эти тексты звучали независимо от присутствия коллег, что характеризовало Ф. как человека, расположенного к откровенности. Стоя рядом с ним в библиотеке, можно было услышать:

— Посмотрю-ка эту книгу. Новая… Чушь, наверное. — Шуршание пролистываемых страниц. — И ведь точно — чушь.

Следует заметить, что, обладая хорошим вкусом, в своих оценках Ф. обычно не ошибался.

Когда волна компьютеризации дошла до Пушкинского Дома, фирма, устанавливавшая технику, прислала своего представителя для обучения потенциальных пользователей. Пользователь Ф. смотрел в окно и вникнуть в объяснения компьютерщика даже не пытался.

— Слишком поздно, — задумчиво сказал Ф., — слишком поздно. И не нужно.

Последнее мое воспоминание об этом человеке — в высшей степени зимнее. Подходя однажды в метель к Пушкинскому Дому, я увидел Ф. В полусотне метров впереди меня он двигался механической походкой немого кино. Сверху донизу картинка перечеркивалась полосами колючего снега и сопровождалась полным отсутствием звука: эта метель поглощала не только изображение, но и звук. Приблизившись к сугробу, Ф. так же беззвучно в нем исчез. Через мгновение — как негатив предыдущего кадра — он вновь возник с абсолютно белой спиной.

В Пушкинский Дом мы с ним вошли почти одновременно. Принимая его пальто, гардеробщица сочувственно спросила: «Упали где?», но Ф. не ответил. Вид у него был довольно свирепый. Поднимаясь по лестнице, Ф. сказал самому себе:

— Разве что-нибудь приятное услышишь?

Умер он, если не ошибаюсь, в ту же зиму. Метель к тому времени сменилась жестоким морозом, который в условиях питерской влажности переносится с большим трудом. Я поехал договариваться о похоронах с одним из пригородных кладбищ. На

нем Ф. завещал себя похоронить рядом с родными. От станции до кладбища я шел пешком по шоссе, и это, пожалуй, были два самых длинных километра в моей жизни. Кожа лица, неспособная обогреть ледяной воздух, и сама, как мне казалось, превращалась в лед. Так что если бы я, скажем, захотел улыбнуться (а улыбаться мне не хотелось), сделать этого я бы не смог.

В дирекции кладбища у меня потребовали — трудно поверить — денег. Кладбищенскому коротко остриженному руководству было, как ни странно, недостаточно того, что у них похоронят крупнейшего специалиста в области русской литературы. Действительного члена (присутствующие сдержанно заулыбались) Академии наук. Я не уходил только потому, что в помещении было тепло. Подумав, попросил разрешения позвонить в Пушкинский Дом.

— Деньги? — удивились на том конце провода. — Будем связываться с Академией наук. Ждите новостей на месте.

Минут через пятнадцать на кладбище зазвонил телефон. Судя по тону кладбищенского начальства, звонили не из Пушкинского Дома и даже не из Академии наук.

— Да-да. Похороним в лучшем виде. Об чем речь. — Говоривший повесил трубку и посмотрел на меня усталым взглядом. — Ну, могилям хоть дашь на бутылку? Холодно копать-то.

Я достал всё содержимое карманов — несколько скомканных бумажек — и положил на его стол. Одну бумажку (мой обратный билет на электричку) я, поколебавшись, забрал.

— Одно слово — академики, — сказал строгий человек и сгреб выложенные деньги в ящик.

Сквозь полузамерзшее окно за его действиями следили могил*и*.

В тот же вечер у меня поднялась температура, и на похороны я уже не поехал. Когда катафалк с телом Ф. прибыл на кладбище, выяснилось, что его могила еще не вырыта. Кладбищенского начальства не было, а могил*и* держались индифферентно. Кто-то из пушкинодомских было возмутился, но один из могил*е*й пригрозил, что сейчас его закопает. Разве что-нибудь приятное услышишь, как сказал бы Ф…

Через какое-то время приехал трактор и вырыл-таки могилу. Могил*и* ее только слегка подровняли. Мне вот что кажется: в нашей жизни мало приятного. В оценке нашего отношения друг к другу, да и атмосферы в целом, фраза Ф. чрезвычайно точна. Статистика и ощущения говорят, что жизнь стала чуть легче. Только ведь уменьшение плохого не всегда ведет к увеличению хорошего. Потому что хорошее должно быть и в виде приятного.

А приятного — мало.

Сеанс с разоблачением

Эту историю рассказал литературовед Евгений Александрович Маймин.

В 1949 году филфак Ленинградского университета был озабочен разоблачением «космополитов». Одним из первых предполагалось разоблачить выдающегося исследователя русской литературы Бориса Михайловича Эйхенбаума. Определенная сложность предприятия состояла в том, что разоблачаемого в это время не было в городе. После второго инфаркта он находился в сестрорецком санатории для сердечников. Родных Бориса Михайловича беспокоило его здоровье, и о происходящем в университете ему ничего не говорили.

Здоровье Бориса Михайловича беспокоило и декана филфака. После долгих раздумий он отправил в Москву феноменальный запрос: «Как быть с Эйхенбаумом, если он умрет раньше, чем его разоблачат? Хоронить его как космополита или как профессора?» Не сочтя этот текст подражанием Андрею Платонову, из Москвы ответили: «Как профессора».

Вернувшись в Ленинград, Эйхенбаум принял известие о своем увольнении из университета философски. Даже поэтически:

В дни юбилея В.Гюго
И Николая Гоголя
Не получил я ничего —
Ни хлеба, ни алкоголя.

«Да ведь это стихея, — сказал он тогда своим ученикам. — Как со стихеею бороться?»

Коллизия между Борисом Михайловичем Эйхенбаумом и советской властью разрешилась, как это часто бывает, компромиссом. Советская власть в тот раз позволила Борису Михайловичу выжить, в результате чего он предоставил советской власти возможность себя разоблачить. А мог ведь умереть неразоблаченным.

Легкое дыхание

Вслед за Ленинградским университетом «космополитов» начали прорабатывать и в Пушкинском Доме. Зайдя в туалет, Борис Михайлович Эйхенбаум сказал: «Вот единственное здесь помещение, где легко дышится». С тех пор много там воды утекло. Интересно, что самые неприятные вещи в Пушкинском Доме по-прежнему случаются вне туалета.

Литературоведы в блокаду

В майские дни я вспоминаю рассказы стариков Пушкинского Дома о блокаде. Как всякое свидетельство о трагедии, рассказы их были пронзительны. Между тем сквозил в них и несомненный мифоборческий оттенок. Вообще говоря, я хорошо отношусь к мифам. Миф — это не выдумка, как легкомысленно кто-то может подумать. Миф (назовем его для благозвучия легендой) — это форма восприятия явления, наше активное к явлению отношение. Легенды возникают вокруг вещей масштабных. Они лишь подчеркивают их размер.

Была, например, распространена легенда о том, что, покинув Бадаевские склады, по Невскому проспекту шли крысы. Предчувствуя судьбу складов, крысы якобы ушли еще до их сожжения и перебрались в порт. И хотя этот сумрачный марш описан не в одном литературном произведении, пушкинодомские литературоведы его не помнили. Они говорили о том, что, направляясь в порт, крысы вовсе не были обязаны идти через Невский. Напротив: чтобы промаршировать по главной улице, им, крысам, пришлось бы даже сделать крюк. Так считали наши старики.

В сущности, мне было жаль расставаться с легендой о крысином марше. В глубине души я до сих пор допускаю, что на Невский крысы заглянули намеренно. Может быть, они указывали городским властям на фатальную неподготовленность города к блокаде, потому что людей к тому времени уже не слушали.

Но реальность была удивительнее легенд. В блокадное (как и во всякое другое) время Пушкинский Дом оставался необычным местом. В нем хранились рукописи Пушкина и доброй половины русских классиков. Имелись также сапоги, сшитые Львом Толстым, локоны Гоголя и Тургенева, карандаш, бывший во время дуэли в нагрудном кармане Лермонтова, и даже сноп пшеницы, подаренный Некрасову крестьянами Карабихи. Наконец, в Пушкинском Доме было то, чего нет ни в одном литературоведческом учреждении мира: подводники.

Они появились вместе с базой подводных лодок, обосновавшейся здесь же, на набережной Малой Невы. Из всех находящихся в Пушкинском Доме экспонатов подводников заинтересовал лишь некрасовский сноп. Будучи людьми практическими, подводники обратились к президенту Академии наук академику Комарову с вопросом, нельзя ли эту пшеницу съесть. Ботаник Комаров ответил короткой телеграммой: «Валяйте, ребята!» Сноп подводники обмолотили и съели в

новогоднюю ночь.

Об этой ночи рассказывали и пушкинодомцы. Они вспоминали о замерзших фекалиях на окнах домов. Этими страшными гирляндами город встречал новый, 1942-й, год. Канализация уже не работала, и ночные горшки выливались через форточку. Спуститься на улицу у многих не хватало сил.

Сил не хватало даже у тех, кому нужно было выбраться из горящих домов. Об одном таком доме однажды рассказал Дмитрий Сергеевич Лихачев. Это был дом на Мытнинской набережной против Пушкинского Дома. На его крышу упала зажигательная бомба, и огонь шел сверху вниз. Шел медленно — четыре дня. Отсветы его по ночам плясали на колоннах Пушкинского Дома. Лихачев отправился было вытащить остававшихся, возможно, в нем людей, но на мосту через Неву его оставили силы. Он едва смог вернуться обратно. Впоследствии этот дом восстановили, и Дмитрий Сергеевич многие годы смотрел на него из окна своего кабинета. Сейчас на месте дома зияющая пустота. Городские власти снесли его и обещают построить новый — точно такой же. За исключением, разумеется, теней погибших. Не приходится сомневаться, что в этот новодел они уже не вернутся.

О блокаде Лихачевым написано несколько десятков страниц. Собственно говоря, не так уж много. Но, по мнению многих, его «Воспоминания» — самое сильное, что сказано об этом времени. Самое сильное и самое страшное. Без страха перед физиологическими подробностями и без «сюсюка», как с прямотой бывшего зэка Лихачев называл советскую литературу о блокаде.

Его собственные воспоминания не просто трагичны. За лишенным риторики, почти монотонным перечислением происходившего явственно проступает эс хатологическое начало. «Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог», — говорится в его книге. Он рассказывает о случаях величайшего самоотречения и немыслимых зверствах: любое явление имеет два полюса, и чем это явление ужаснее, тем резче полюса. Рассказывает о Пушкинском Доме, об умиравших один за другим литературоведах, о дирекции, объедавшейся за закрытыми дверями и торговавшей институтской квотой на эвакуацию. Этот Дом был лишь маленькой моделью города, пожираемого блокадой. Города с нечеловечески страдающими людьми. С Андреем Александровичем Ждановым во главе, получавшим спецрейсами ананасы. Сохранявшим силы для своего главного литературоведческого труда, опубликованного в 1946 году.

Дом и остров

Под стрекотание пленки, в чернобелом: 1919й, голодающий Петроград, крупный план петропавловского шпиля. Мой прадед, директор гимназии (вросшее в переносицу пенсне), отправив семью к знакомым в Киев, уходит добровольцем в Белую армию. Что ему тогда увиделось — мутный рассол Сиваша, лазурное небо Ялты? — я ведь даже не знаю, где он воевал. Известно лишь, что на родной Троицкий проспект прадед уже не вернулся: там все знали, по какой надобности он отсутствовал. После разгрома белых прадед («Петербург, я еще не хочу умирать») отправился к семье на Украину, что в конечном счете и спасло ему жизнь. Петербург остался где-то далеко, стал лучом давнего счастья и семейным преданием. Покинутым домом, в который семья вернулась спустя лишь долгие десятилетия — в моем лице.

Цветные кадры аэропорта Пулково. В город на Неве я прилетел осенью 1986 года, поступив в ас пирантуру Института русской литературы, более известного как Пушкинский Дом. Это академическое учреждение туристы путают порой с Мойкой, 12, но — Пушкин в Пушкинском Доме не жил. Жаль, конечно, потому что здание — красивое, с колоннами, отчего бы ему там и в самом деле не жить? Будь на то наша, пушкинодомская, воля, мы бы его там поселили.

Нам всем хочется сделать что-то для Пушкина, да и не только нам. Фотографию моей дочери на фоне Спасской башни Кремля одно немецкое издание сопроводило пояснением, что это Пушкинский Дом. Несмотря на фактическую неточность, немцы обнаружили знакомство с нашей системой ценностей. Есть своя логика в том, чтобы на главной площади страны стоял именно *его* дом.

Приехав в Пушкинский Дом, я попал на подготовку праздничного капустника. Дмитрия Сергеевича Лихачева, моего будущего многолетнего учителя (формально — начальника), поздравляли с восьмидесятилетием. ДэЭса — так его называли в Отделе древнерусской литературы — приветствовали те средневековые герои, о которых он писал. Мне досталась роль Василька Теребовльского, коварно ослепленного князьями. Романс Василька исполнялся мной под гитару. Голос мой, как положено, дрожал — до некоторой степени от сочувствия Васильку, но главным образом оттого, что я поздравлял всемирно известного академика. В сравнении с тем, что довелось повидать ДэЭсу в концлагере, княжеское преступление было, видимо, не самым страшным злом, но слушал он меня сочувственно.

Потом мы сыграли капустник еще раз на отмечании юбилея в ресторане. К моменту выступления мне удалось промочить горло, и голос мой дрожал уже меньше. Нужно сказать, что к пирам у Лихачева было отношение древнерусское. Близких людей ему нравилось собирать — дома, в банкетных залах или на даче в академическом поселке Комарово. Восьмидесятилетие Дмитрия Сергеевича мы праздновали в интуристовском ресторане, потому что в обычных ресторанах (кто сейчас помнит антиалкогольную кампанию?) после семи вечера не подавали водку. Ничего, кроме вина, Лихачев не пил, но, зная, что его сотрудники не отвергают напитков и покрепче, предпринял всё, чтобы эти напитки были.

Закругляя тему пиров, вспомню последний день рождения Дмитрия Сергеевича, на котором мне довелось присутствовать. К тому времени я давно уже не пел. Под влиянием Лихачева я стал человеком письменного текста и написал ему стихотворение. В этом стихотворении отразилась, среди прочего, любимая академиком мысль, что возрождение России начнется из провинции:

Спадает зной. Вдали грустит баян.
Захлопыванье ставен. Скрип ступенек.
Деревня Комарово: из крестьян
Здесь ныне каждый третий академик.
Мужского рода кофе на столе,
Изыскан слог, и чувствуешь в волненье,
Как рост образованья на селе
Готовит всей России возрожденье.

Да, тогда я уже не пел. Но пока пел, слушал меня не только Дмитрий Сергеевич. Всё спетое, как выяснилось, произвело впечатление на мою соученицу по аспирантуре Таню, русскую немку из Казахстана. Лихачев называл ее «тихой душой нашего сообщества». Определение было удивительно точным. Не будучи тихой душой нашего сообщества, я проявил активность, и через год с небольшим Таня стала моей женой.

Весь этот год наши отношения мы скрывали. Нам казалось, что Дом, в который мы оба попали, подразумевает лишь один род любви — любовь к науке. Всякие иные связи, устанавливаемые между исследователями, виделись нам не то чтобы предательством — скорее дурным тоном. Мы жили в общежитии аспирантов, вполне по советским меркам неплохом. Я располагал там «койкоместом», а Таня, как аспирантка третьего курса, завершающая диссертацию, — отдельной комнатой.

Исследовательницу, к тому времени добившуюся в науке

значительно больше моего, я посещал ежевечерне. После насыщенного дня, проведенного в Пушкинском Доме или в библиотеке, я неутомимо интересовался способами датировки древнерусских рукописей, особенностями новгородского диалекта или переводом отдельных древнерусских фрагментов. Мой научный аппетит к вечеру удваивался.

Я думаю, девушка не хуже меня догадывалась, куда лежит курс, но отказать пытливому исследователю не могла. В те годы — годы бескорыстия и взаимопомощи — это не было принято. Я слушал Танины объяснения, и чувствовал, как к моим ушам приливает кровь, и прижимал к ним холодные ладони, и ничего сквозь прижатые ладони не слышал. Я ничего не слышал бы и без них. Смотрел на воздушные Танины пальцы, втайне лелея мечту оставить свое одинокое койкоместо и переселиться к ней. Как-то незаметно это и случилось.

Вообще говоря, в отношении людей семейных научное общежитие не было дружественным местом. Его возглавлял некто Валентин Иванович, партиец со стажем и человек трудной судьбы. Трудности его, по слухам, состояли в том, что, будучи прежде директором интуристовской гостиницы, он попался на организации сексуслуг для постояльцев. Голубоглазых ленинградских комсомолок Валентин Иванович передавал в жадные руки империалистов, получая вознаграждение — и это оказалось самым тяжким пунктом обвинения — в иностранной валюте. Ему светил немалый срок, но какие-то немыслимые связи в обкоме партии в последний момент его спасли. Впрочем, в Смольном всё еще хранили память о благородных девицах и проступком Валентина Ивановича (а особенно тем, что попался) довольны не были. Валентину Ивановичу придумали свое наказание, и оно оказалось изощренным: его поставили директором аспирантского общежития.

Вопиющее безденежье отечественных аспирантов оставляло организаторский опыт Валентина Ивановича невостребованным. Влача непривычное для него безвалютное существование, директор общежития скатился к мелкому вымогательству в рублях. Когда мой коллега Владислав попросил на время учебы поселить в общежитии и его жену, Валентин Иванович удивился. «Странная просьба, — сказал он. — Представьте, что я попросил бы у вас, скажем, тысячу рублей». Будучи филологом, аллегорию Владислав понял, но тысячи рублей (по тем временам значительной суммы), у него не было.

У меня тоже не было тысячи, но я с моей (будущей) женой жил совершенно бесплатно. Об этом факте нашей — тогда уже общей — биографии Валентин Иванович не знал, иначе, не

сомневаюсь, это влетело бы нам в копеечку. Что же касается коллеги Владислава, то он после некоторых раздумий написал письмо Горбачеву, которое, как и положено, в конечном счете приземлилось в Смольном. Разбираться в сложившейся ситуации прислали одного академика-биолога. Собрав обитателей общежития, академик долго стыдил Владислава и аспирантов за то, что отрывают Михаила Сергеевича от важных дел. Пристыдив всех, кроме Валентина Ивановича, академик удалился. Впоследствии выяснилось, что перед нами выступал крупный специалист в области беспозвоночных.

Но контроль осуществлялся не только со стороны Валентина Ивановича. Почти ежедневно нас посещали многочисленные соседи по общежитию. Они (молодость наблюдательна) время от времени регистрировали происходившие в Таниной комнате перемены. Одной из таких перемен оказались однажды мои носки, ненавязчиво выглядывавшие из-под Таниной кровати.

— Чьи это носки? — последовал простодушный вопрос.

Таня тогда сменила тему, но было очевидно, что наша маленькая тайна доживает последние дни. Несмотря на то что я стал прятать носки так далеко, что и сам порой не находил их впоследствии, они обладали удивительным свойством показываться в самый неподходящий момент. Выныривать из ниоткуда в компании моих футболок, зубных щеток и бритвенных принадлежностей.

Впрочем, всем всё уже было ясно, вопрос заключался лишь в констатации факта. А с этим мы всё еще медлили. Дело шло к окончанию аспирантуры — сначала Таниной, потом моей. И Тане, и, позднее, мне Лихачев предложил работу в Пушкинском Доме. Когда для принятия меня на работу понадобилось решать непростую проблему ленинградской прописки, Дмитрий Сергеевич (перед этим он хлопотал о прописке для Тани) пригласил к себе нескольких сотрудников Отдела древнерусской литературы.

— Не хочется лишний раз обращаться в Смольный с просьбами, — сказал он. — Я слышал, что Женя и Таня… дружат. Если они станут мужем и женой, Женя получит прописку автоматически. Вы не могли бы поинтересоваться их планами?

— Но… Дмитрий Сергеевич, — развели руками сотрудники, — как можно спрашивать о таких вещах?

— Только в лоб, — ответил Лихачев.

На следующий день всем стало известно, что хлопотать о моей прописке не нужно. С этого дня для коллег мы перешли в совсем другой статус, и в этом было что-то семейное. Так родители, обнаружив, что дети выросли, начинают давать им

подчеркнуто взрослые советы. Звенящее молчание, окружавшее прежде запретные сферы, сменяется столь же гулким пониманием и солидарностью. Случалось, институтские дамы шепотом указывали Тане аптеки, где «выбрасывали» презервативы — один из дефицитов тех времен. Мы же, следуя академической этике, продолжали делать вид, что предметом нашего общения является исключительно наука. Когда после свадьбы Танин живот стал все-таки расти, стало очевидно, что наши с ней отношения носят совершенно неакадемический характер.

Свадьбу мы праздновали трижды — в Караганде, Киеве и Питере. При этом в каждом из городов получили талоны на приобретение колец и кое-чего из одежды. Стоял 1989-й год, и в свободной продаже ничего было уже не купить. Справедливости ради скажу, что талонами мы воспользовались только для покупки Таниного свадебного платья, колец и обуви — на всё остальное денег у нас не было. Свадебный костюм мне подарили мои родственники. Зато обувь, которая была в абсолютном дефиците, мы купили в каждом из трех городов. Заполняя шкаф обувными коробками, мы чувствовали себя брачными аферистами.

Нашу питерскую свадьбу отмечали в общежитии, где для этих целей нам была предоставлена «ленинская комната». В этой комнате лежали подшивки центральных газет и стоял, как полагалось, бюст того, чье имя комната носила. К нему, однако, у меня были большие претензии, и его присутствия на моей свадьбе я потерпеть не мог. Кроме того, зная взрывной характер некоторых гостей, я допускал, что присутствие вождя мирового пролетариата добром не кончилось бы и для него самого. Вынести Ленина из комнаты было единственно возможным решением.

Это был довольно большой Ленин, и вначале я да же засомневался в возможности вынести его одному. С другой стороны, мне не хотелось делать кого-либо соучастником события с непонятным, по сути, исходом: время-то было еще советское. Подойдя к бюсту, я приподнял его — несмотря на внушительный размер, он был совсем не тяжелым. Ленин оказался полым. Подобно прочим советским конструкциям (включая и сам Советский Союз), большая вещь оказалась чистой видимостью. Я вынес ее без всякого труда.

Рядом с комнатой нашелся недействующий туалет, я поставил Ленина туда и накрыл сверху газетами. Тут же выяснилось, что поступок мой оказался идеологически неверным. Первым мое внимание на это обратил сотрудник хозчасти.

— Вы долго думали? — спросил он меня, показывая на

Ленина в туалете.

Думал я действительно недолго — на это у меня просто не было времени. Вынос Ленина был произведен в половине шестого, за полчаса до ожидаемого прихода гостей. Тучи начали сгущаться с неимоверной скоростью. Администрация общежития, собравшись на экстренный совет, признала мой поступок аморальным. Тщетно я доказывал, что туалет недействующий и не содержит экскрементов, что, останься вождь в комнате, кто-нибудь из гостей мог бы его повредить в состоянии аффекта, — высокое собрание считало, что празднование свадьбы нужно отменить. Валентин Иванович почему-то отсутствовал, иначе, не сомневаюсь, мы бы решили вопрос на коммерческой основе.

Наши препирательства длились до 17 часов 58 ми нут. В 17:59 к общежитию подъехала черная «Волга», из которой вышел Д.С.Лихачев. Встречая его с думой о Ленине, я не ожидал, что появление моего начальника окажет на всех столь благотворное влияние. Администрация очевидным образом испытывала шок. Оставив распри, мы радостно приветствовали знаменитого академика. О наших идеологических разногласиях он так ничего и не узнал.

— Приглашали к шести, я не ошибся? — спросил меня Дмитрий Сергеевич.

— Приглашали к шести, — подтвердил я.

Все остальные пришли в семь.

Дмитрия Сергеевича попросили быть посаженым отцом, и они с женой Зинаидой Александровной сидели рядом с нами. Их удивительная, к тому времени почти шестидесятилетняя, семейная жизнь словно бы задавала тональность нашей семейной жизни. Мне кажется, что в нашей любви, которая, благодарение Богу, длится не один десяток лет, весома роль и этого благословения.

Лихачевы просидели за столом пять часов, заметив, что поставили рекорд длительности пребывания в гостях. Нашлись, однако, те, кто отважился побить и этот рекорд. В два часа ночи некоторые из наших гостей позвонили домашним, сообщив, что опоздали выехать до разводки мостов и вынуждены остаться ночевать у нас. Празднование продолжалось весь следующий день. Часов около двух ночи их родные были вновь оповещены об объективной невозможности вернуться домой. На вопрос домашних, что же им помешало вернуться на этот раз, наши гости со всей прямотой вновь указали на разведенные мосты. В те бурные дни я понял, *что* в Петербурге является уважительной причиной. Причиной, против которой не возразишь.

На следующее утро я увидел за столом милиционера.

Несмотря на форму, пришел он, как выяснилось, не по службе. Милиционер сосредоточенно доедал салаты и запивал их коньяком. Закончив с тем, что оставалось на столе, он поздравил нас с бракосочетанием и спросил, есть ли еще алкоголь. Алкоголя, к моему удивлению, больше не оказалось. Милиционер покачал головой, взял большой фужер и слил в него то, что оставалось на дне всех стоявших на столе емкостей — включая бокалы. Он назвал это милицейским коктейлем и, подмигнув нам, выпил одним глотком. Больше мы его не видели.

За праздником пошли будни. Освоившись в Пушкинском Доме, я осознал, что в нем трудится не только Дмитрий Сергеевич, но и многие другие люди — очень разные. Трудился, например, Николай Андреевич, специалист по гражданской обороне, не скрывавший того, что сотрудничает и с некоторыми другими ведомствами. Николай Андреевич был невысок, сед (волосы аккуратно зачесаны назад) и, как я сейчас вспоминаю, довольно-таки стар. Никогда не смеявшийся, он нередко улыбался краями губ, как бы давая понять, что слова собеседника им принимаются не вполне всерьез и, возможно, будут еще проверены. Время от времени Николай Андреевич собирал пушкинодомцев и рассказывал, как им надлежит вести себя в *экстремальной* ситуации. Иногда дублировал свои сообщения в письменном виде, вывешивая их на доске объявлений под заголовком «Внимание всем».

Однажды в Пушкинский Дом пришел сумасшедший. В Пушкинский Дом время от времени приходят сумасшедшие, и ничего из ряда вон выходящего в этом нет. Обычно это спокойные люди — авторы оригинальных концепций и статей. Как-то раз в Отделе древнерусской литературы появился даже потомок князя Игоря — тоже вполне спокойный человек. Особенность сумасшедшего, пришедшего в тот день, как раз в том и состояла, что он был неспокоен. И хотел видеть Лихачева.

Дмитрий Сергеевич, который не отказывал в беседе никому, в тот момент принимал очередного посетителя. Когда пришедший выразил твердое намерение ждать, сотрудницы нашего отдела позвали меня. Допускать его до восьмидесятипятилетнего академика им казалось небезопасным, и они попросили меня как-то справиться с посетителем. Я попытался с ним заговорить, но он ответил, что говорить будет только с Лихачевым. В свои тогдашние двадцать пять я был крепким парнем и в случае необходимости скрутил бы этого больного человека без труда. Проблема состояла в том, что я не понимал, есть ли такая необходимость. Не испытывая любви к полицейским методам, я не решался применить силу лишь на том основании, что мне не

хотят отвечать. Пауза затягивалась.

В этот момент вошел Николай Андреевич, которому уже доложили о сложившейся обстановке. Он пересек комнату маршевым шагом и, приблизившись к нарушителю спокойствия, произнес всего два слова: «Ваши документы». Пришедший в буквальном смысле затрясся. «Следуйте за мной», — не меняя своей лаконичной манеры, скомандовал Николай Андреевич. Будучи выше Николая Андреевича на голову и вдвое его моложе, посетитель покорно затрусил за ним. Мой внутренний либерализм не помешает мне быть откровенным: это было эффектно.

Помню одухотворенное лицо Николая Андреевича 19 августа 1991 года. Вероятно, ситуация в этот день ему и в самом деле виделась *экстремальной*. Он вальяжно ходил по коридорам и предлагал сохранять спокойствие, разъясняя, что невиновных не тронут. От его успокоительных слов становилось и в самом деле не по себе. Пройдя мимо Николая Андреевича, я поднялся в Отдел древнерусской литературы. Я стремился туда, как стремятся к острову во время шторма. Собственно, этим словом Лихачев наш Отдел и называл. Спасая от ареста нашего коллегу, имевшего неосторожность переписываться с Солженицыным, он сказал ему: «Вы не понимаете, что живете на острове».

Войдя в отдел, я вначале подумал, что он пуст. Но это было не так. В дальней комнате сидел Лихачев. Почему-то он напомнил мне полковника Турбина, ожидавшего своих в пустой гимназии. Поздоровавшись, Лихачев произнес: «Какие мерзавцы!» Я согласился. Дмитрий Сергеевич рассказал мне, что его внучка Вера с семьей накануне отправились поездом в Германию. Он гадал, успели они пересечь границу или нет.

Вернувшись домой, я бессмысленно следил из окна за машинами. Дома я был один: Таня с годовалой дочкой Наташей гостила у родителей в Караганде. Покрутив без надежды колесико радиоприемника (звучал только Чайковский), я внезапно поймал волну «Открытого города». Радио призывало всех мужчин города двигаться в сторону Исаакиевской площади на защиту Ленсовета. Услышав про всех мужчин города, я подумал, что так могли бы призывать древних новгородцев, римлян, афинян. Свистел в этих словах ветер истории, который в тот вечер увлек и меня. Мне хотелось позвонить Тане в Караганду, но я не позвонил. Из-за разницы во времени там было уже поздно, а главное — я боялся, что она будет просить меня остаться дома. Не успев поужинать, я положил в карман горбушку черного хлеба, взял зонтик и вышел на улицу.

Было поздно, автобусы не ходили, и я стал ловить машину.

Первым остановился «фольксваген», в котором сидели насмерть перепуганные финны. Ехать на Исаакиевскую площадь они не собирались, как раз наоборот: с несвойственным им темпераментом выясняли дорогу на Хельсинки. Второй машиной оказалось такси, которое и отвезло меня на Исаакиевскую, точнее, на впадающую в нее Большую Морскую, где мы уперлись в первую из баррикад. Брать с меня деньги таксист отказался. По его словам, всех, кто в эту ночь ехал к Исаакию, питерское такси возило бесплатно. Я вышел из машины и направился в сторону площади.

Подготовка там кипела вовсю. На подступах к площади из обломков мебели, батарей и проволоки возводились баррикады, рядом с ними поперек дороги устанавливались автобусы, а недалеко от памятника Николаю I разливался по бутылкам бензин. Приготовлением «коктейля Молотова» занималась пополнившая ряды сопротивления милиция. На стене Мариинского дворца работал громкоговоритель. Он рассказывал о том, как по Москве уже идут танки и как одного из горожан уже намотало на гусеницы. В заключение сообщалось, что на Питер двигается псковская танковая дивизия. Страшно почему-то не было.

Не по себе стало только тогда, когда на площадь прибыли полтора-два десятка карет «скорой помощи». Медицинскую сторону дела героизм обычно выносит за скобки — а напрасно. Вполне вероятно, настоящий героизм начинается не в бою, а позже, в больничной палате, в операционной и перевязочной. Вкупе с со общениями о псковской дивизии эта мысль действовала на нервы. Ее обоснованность подтверждали «скорые» и курившие рядом с ними врачи. Их белые халаты трепетали на прохладном уже ночном ветру.

Я смотрел на баррикады и думал о том, что для танков они не составляют ровно никакого препятствия. Препятствием они станут лишь для тех, кто бросится убегать с площади: эти груды мусора будет трудно преодолеть. Я решил про себя, что, если появятся танки, убегать с площади не буду. Мне казалось, что наиболее безопасной является точка в центре циклона. Я подумал, что лучше всего забраться на цоколь памятника Николаю I, который — я на это надеялся — не будут ни таранить, ни обстреливать. Однажды большевики уже пощадили его, оценив уникальность конструкции (он стоит всего на двух точках опоры — задних ногах коня). Неизвестно, правда, вспомнили ли бы танкисты о точках опоры в ту ночь.

В ту ночь танкисты не появились. Говорили, что на каждом километре пути колонна теряла сразу по несколько танков.

Машины выходили из строя одна за другой, поскольку танкистам не хотелось давить мирное население. Выражаясь сообразно случаю, до смерти не хотелось. Не знаю, так ли это было на самом деле, но около трех часов ночи по радио объявили, что колонна прекратила свое движение. Ленсовет поблагодарил всех за поддержку и призвал расходиться по домам. Живя тогда на противоположном берегу Невы, на Ржевке, последовать этому призыву я не мог. Как это обычно случается в Питере, проблема состояла в мостах: до их сводки оставалась еще пара часов.

Минуя баррикады, я выбрался на Невский. Шел и думал, что сегодня в последний раз иду по свободному Питеру, что уже завтра псковская дивизия возьмет себя в руки и доедет-таки до города, а уж тогда начнется совсем другая жизнь. Я не представлял себе, что это будет за жизнь и останется ли в ней место Пушкинскому Дому — дому и острову одновременно. Сам себе я напоминал прадеда: в сходных обстоятельствах мы с ним поступали сходным образом — каждый в доступной ему форме. Теперь мне оставалось лишь уехать к семье в Казахстан, и симметрию можно было бы считать соблюденной. Было ли здесь дело в каких-то наших семейных чертах или в особенных качествах Родины, то и дело ставящей нас перед неразрешимыми вопросами, — я не знал. Я чувствовал лишь, что и мной, и прадедом двигала вовсе не воинственность (я — ученый, он — учитель) и не тяга к борьбе. Скорее это была попытка не допустить сползания к скотству, которое безошибочно угадывалось в лицах новых вождей.

Я шел по Невскому и не знал, что уже на следующий день перед стодвадцатитысячной толпой на Дворцовой выступит Лихачев и объявит новое «руководство» самозванцами, а еще через два дня станет ясно, что путч провалился. Что через недолгое время люди Исаакиевской и Дворцовой, ожидавшие для России разумного, демократического, западного пути, демократическим властям России окажутся неинтересны — так же, впрочем, как и сама Россия окажется неинтересной Западу. Из менее масштабных вещей не знал я того, что двадцать лет спустя мое тогдашнее блуждание по Исаакиевской будет вызывать у меня улыбку. Что многолетние занятия историей откроют мне: человечество не имеет цели, цель имеет только человек. Им одним, говоря всерьез, и стоит заниматься. Во всем, что шире человека, есть какая-то ненадежность.

У Московского вокзала я неожиданно разговорился с военным — кажется, майором. В эту ночь многие друг с другом разговаривали — особенная была ночь.

— Вы готовы стрелять по мирным людям? — спросил я его.

— Постараемся без этого обойтись, — ответил майор.

Я кивнул и двинулся дальше. Дойдя до площади Александра Невского, остановился. Дальше идти было некуда — впереди чернела громада разведенного моста. Увидев ее, я вдруг разом почувствовал усталость и голод. Вспомнил о взятой горбушке и полез в карман. Горбушка была уже слегка подсохшей, примятой, но (подумалось) не раздавленной. Я вдохнул ее кисловатый запах, и мост начал медленно опускаться.

In memoriam

Постижение свободы

Чтобы получить признание в России, нужно, как известно, жить долго. История жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева такую точку зрения во многом подтверждает. Несмотря на то что еще в семидесятые его называли первым литературоведом страны, всенародное признание пришло к нему лишь в эпоху перестройки. Тогда ему было уже под 80…

Д.С.Лихачев родился в 1906 году в семье петербургского инженера. В ту пору профессия его отца еще не заключала в себе удручающего (120 р. в месяц) советского оттенка и никоим образом не являлась синонимом карьерной неудачи. Инженер Сергей Михайлович Лихачев снимал вполне комфортабельную квартиру, абонировал ложу в Мариинском театре и увлекался фотографией. Память о жизни «до несчастья» (так академик называл октябрьский переворот 1917-го) была, возможно, одной из тех вещей, которые впоследствии не позволили Дмитрию Сергеевичу окончательно впасть в отчаяние. В отличие от тех, кто не застал «прежних времен», на протяжении всех лет своей советской жизни Лихачев отлично помнил, что можно жить иначе. Эта память разомкнула кромешную социалистическую действительность и не позволила ему в ней раствориться. Уж не эта ли память дала ему силы пережить советскую власть?

По окончании университета (1928 год) Лихачев попадает в Соловецкий концлагерь. Нам сейчас непросто понять, как можно получить срок за любовь к буквам (материалом для обвинения послужил написанный им доклад «О некоторых преимуществах старой русской орфографии»), но ведь это — было. Точно так же невозможно в полной мере представить, что мог чувствовать двадцатидвухлетний и вполне, в общем, домашний мальчик в этом аду. Коммунистическом аду, возникшем на обломках монашеского рая. Потерянный рай монахов не был одной лишь метафорой. В пору своего существования он имел ощутимые райские атрибуты: на Соловках, у Полярного круга, в теплицах росли тропические фрукты. Теплицы обогревались горячей водой, использовавшейся в свечном производстве для отбеливания воска.

Странная соловецкая *зона* — в понимании скорее Андрея Тарковского, чем ОГПУ, — всегда балансировала между землей и небом: всю свою историю, в том числе и в бытность монастырем, она была территорией крайностей. Столкновение советского и монашеского миров (оно до сих пор потрясает всякого, приехавшего на Соловки) отдавало фантасмагорией, но для

Лихачева именно оно стало реальностью. Я думаю, эта расслаивающаяся реальность его и сформировала.

На Соловках он впервые понял, что такое смерть. Она вплотную приблизилась к нему во время посещения его родителями. Лихачев оказался в списке тех, кого лагерным властям разрешили расстрелять «для острастки». Будучи предупрежден, в тот вечер он не вернулся в барак. Прячась в дровах, всю ночь слышал выстрелы. А наутро, когда стало известно, что расстрелы кончились, он осознал, что остался жив.

По его признанию, именно тогда он стал другим человеком. Он перестал бояться, и это был выход в область свободы. Он благодарил Бога за каждый прожитый день, потому что понимал, что отныне каждый день — подарок. Лихачев никогда не сравнивал себя с ожидавшим казни Достоевским, но это сравнение не может не приходить в голову. Тот же страшный опыт заглянувшего *туда*. Тот же разлом в сознании. Открывшаяся способность видеть нечто за горизонтом.

Освободившись из лагеря в 1932 году, Д.С.Лихачев работал корректором. «Время меня перепутало, — говорил он более полувека спустя. — Когда я мог что-то сделать, я сидел корректором, а теперь, когда я быстро устаю, меня оно завалило работой». В 1938 году он поступил на работу в Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук, с которым была связана вся его дальнейшая судьба. Он проработал в нем более шестидесяти лет, и этот Дом стал его домом.

Сотрудником Пушкинского Дома Лихачев пережил блокаду. Здесь, как на Соловках, жизнь вновь распалась на полюса: «В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Всё было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса». Это строки из его книги «Воспоминания», без преувеличения — великой книги.

В послевоенное время стали выходить труды, принесшие ему мировую славу. Он занимался поэтикой древнерусской литературы, ее жанрами, дал подробную характеристику ее развития. Писал о Лескове, Достоевском, о семантике садово-парковых стилей — перечисление рискует затянуться… И ведь нельзя сказать, что в какой-то из названных сфер он был первым. Просто его прикосновение к большинству тем было поистине моцартовским — изящным и бесспорным одновременно. Его работы не содержат зауми, они написаны ясным, спокойным языком: глубокая мысль не нуждается в орнаменте. Ей достаточно

и простой грамматической структуры. Работы Лихачева сразу же становились классическими, потому что классика — это то, что очевидно, но о чем прежде (и теперь это так странно!) никто не писал.

Восхождение «звезды Лихачева» принято связывать с его выступлением в останкинской телестудии в 1986 году. Это было не просто выступление известного ученого. В тот день страна открыла для себя духовного лидера. Если быть более точным — новый тип духовного лидера. В Средневековье эту роль выполняли святые, в XIX веке — писатели. В конце XX века она досталась ученому: в этом, очевидно, и состояло соответствие времени. Но даже предположив, что ученый (не святой, не писатель) стал выбором рационалистической эпохи, не следует упускать из виду, что это был ученый, чьей специальностью святые и писатели по преимуществу и были.

Так сложилось, что именно в это время я пришел в Пушкинский Дом — в возглавлявшийся Лихачевым Отдел древнерусской литературы. «Звездному» периоду его жизни мне посчастливилось быть свидетелем, что, как кажется, дает повод, перейдя к *Ich-Erzählung*, поделиться некоторыми личными впечатлениями. В отношении Дмитрия Сергеевича я бы, пожалуй, не позволил себе пошловатого определения «звездный», если бы первая моя с ним встреча и в самом деле не была связана со звездой. Точнее — с «малой планетой № 2877», открытой астрономами и получившей имя Лихачева.

Это обстоятельство легло в основу капустника, готовившегося Отделом древнерусской литературы к 80-летию Лихачева (28 ноября 1986 года). Дэ Эса — так его называли в отделе — поздравляли от имени древнерусских персонажей, о которых он писал, и дарили ему телескоп для наблюдений за собственной звездой. Я играл тогда Василька Теребовльского (персонажа, замечу, не самого веселого) и напоминал юбиляру, что «в многой мудрости много печали». Думаю, впрочем, что он догадывался об этом и без меня.

Удивительная атмосфера праздника, встретившая меня в отделе, так и не сменилась буднями. Говорю это не только в торжественном («служение любимому делу»), хотя и вполне почтенном смысле, но в самом прямом, житейском. Лихачев любил праздники и умел их устраивать. Праздниками были дни его рождения, выездные чтения отдела в разных городах (они придумывались организаторами, чтобы заманить *его*) и его многочисленные награды и премии. Что касается премий, то они не только отмечались. Свою Госпремию Дэ Эс разделил между молодыми учеными отдела. Так что мою Госпремию я уже

получил — из рук Лихачева.

Сейчас, когда его нет, время от времени поднимается вопрос о *мифологии*, окружающей его имя (после публикации книги «Дмитрий Лихачев и его эпоха» в одном издании я был даже обвинен в *мифотворчестве*). Об *амплуа* «совести нации». О том, что его *назначили* «главным интеллигентом страны». К такого рода высказываниям я отношусь спокойно и касаюсь их здесь сознательно. На мой взгляд, они вовсе не так обидны, как предполагали их авторы, и затрагивают довольно важную тему: как человек становится легендой? Как это тот, кто состоит из плоти и крови, превращается в существо не то чтобы метафизическое, но как бы не совсем уже и здешнее? Опоздав как-то в редакцию одного журнала (в тот день я по делам заезжал к Лихачеву), я попытался оправдаться тем, что Дмитрий Сергеевич попросил меня остаться на обед. «А разве он… ест?» — спросили меня в ответ. В этой шутке почти не было шутки. И разве не нам хотелось видеть его таким?

Проблема легендарного совсем не проста, и ее решение лежит на стыке двух явлений: личных качеств «мифологизируемого», с одной стороны, и общественного ожидания — с другой. Эти явления взаимодействуют, поддерживая и развивая друг друга. Представление о том, что Моисей вывел свой народ из египетского плена, не противоречит предположению, что необходимость освобождения родила Моисея.

Разумеется, Лихачев был прекрасно знаком с тем, что мы сейчас назвали бы его медийным образом, и избыточные краски в этом портрете порой откровенно его раздражали. Даря мне одну из своих книг, он перечеркнул помещенный редакторами список его наград и званий и написал: «Прошу не обращать внимания на эту безвкусицу». Ему не нравилось чрезмерное подчеркивание его учительства («Я не Рабиндранат Тагор!» — сказал он однажды сердито). На одну из юбилейных статей, рассматривавшую его роль как учителя, он — случай, мягко говоря, нетривиальный — написал опровержение.

Мне кажется также, что порой его смешил и образ «тихого старца». Судя по некоторым его высказываниям («Никогда не думал, что бо́льшую часть своей жизни проживу стариком»), он так и не научился соотносить с самим собой слово «старость». А уж «тихим» он точно не был. Когда в давние времена в Пушкинский Дом не хотели принимать Руфину Петровну Дмитриеву, замечательную исследовательницу древнерусской литературы, он перевернул в дирекции мраморный столик. И ее приняли, конечно: куда им было деваться? Разумеется, подобного

рода меры не определяли поведения Лихачева, но мы знали его и таким. И бесконечно любили.

Нам было прекрасно известно, что за тихими словами и скупыми жестами скрыты энергия и смелость. Отстаивая своих сотрудников в советское время, Лихачев доходил до секретаря обкома Романова и его партайгеноссен — и побеждал. Именно он убедил городское начальство не строить гостиницу «Ленинград» высокой, чтобы не нарушать «небесную линию города». И именно его нам так не хватало, чтобы отвести нависшую (в прямом, к сожалению, смысле) над Петербургом угрозу строительства небоскреба «Охта-центр».

Хорошо помню его утром 19 августа 1991 года. Поднимаясь к нам в отдел, я не встретил никого, кроме уполномоченного по гражданской обороне (все знали, что он совмещал это занятие с работой в других ведомствах), который кричал кому-то через лестничный пролет, что невиновных-де не накажут. Настроение было отвратительным. В тот ранний час в отделе оказался только Дмитрий Сергеевич. «Какие мерзавцы!» — сказал он. Это короткое определение меня почему-то утешило. Позже — в академической форме — Лихачев повторил это десяткам тысяч собравшихся на Дворцовой площади. Было академику 84 года.

Выше смелости я поставил бы, пожалуй, другое его качество: независимость. На первый взгляд, такое противопоставление неправомерно, потому что в какой-то части своего значения эти понятия совпадают. Но удивительным образом не все смелые люди бывают независимы, а в конечном счете, значит, и достаточно смелы. Так происходит, когда человек чувствует себя заложником своей репутации. Точки зрения своего социума. Общественного мнения в целом. Лихачев никогда не чувствовал себя заложником: он всегда был свободен.

Может быть, эта свобода и была для меня главным его уроком. Свобода в глубоком, если угодно — религиозном смысле слова. Свобода как дар Божий, как возможность постоянного выбора, не стесняемого ни партийными (он никогда не состоял ни в одной партии), ни корпоративными, ни какими-либо другими интересами. Пытаясь руководствоваться этим и в своей жизни, впоследствии я сформулировал это для себя так: избегать «течений» и «идеологий», выносить суждения лишь о конкретном поступке или высказывании. В таком дроблении бытия, в разделении фильма на кадры есть свой смысл. Ведь принимающий идеологию расписывается за «пакет», в котором наряду с полезным содержится, увы, и много неприемлемого.

Такое понимание свободы объясняет, как мне кажется, те «парадоксы Лихачева», о которых говорилось неоднократно (в

частности, по поводу его «Заметок о русском»). Объясняет, например, как «почвенничество соединялось в нем с западничеством». Очень просто соединялось, потому что не было ни того, ни другого. Была любовь к русской культуре — и любовь к культуре западноевропейской (мало кто знает, что по образованию Лихачев был, среди прочего, специалистом по английской литературе). При этом первая отрицала шовинизм, а вторая — низкопоклонство. Почему же им было не соединиться?

Находясь в добрых отношениях с М.С.Горбачевым, Лихачев тем не менее без колебаний отправил в Кремль телеграмму протеста против взятия Вильнюсского телецентра. Когда же этнократическая природа прибалтийских государств стала очевидной, Дмитрий Сергеевич нашел для них весьма жесткие слова, не входившие, замечу, в тогдашний «демократический» репертуар. При безусловно демократическом образе мыслей менее всего он был согласен на опереточную роль «отца русской демократии», которую ему подчас пытались навязать. Исходя, очевидно, из такого понимания его *амплуа*, в начале Косовской войны к Лихачеву приехала одна из американских телекомпаний с просьбой рассказать, что он думает о преступлениях сербов. Это было за несколько месяцев до его смерти. Несгибаемый академик предложил поговорить о преступлениях американцев. Он не побоялся быть исключенным из рядов «прогрессивной общественности». Он жил так долго, что имел право трактовать прогресс по-своему.

Лихачев прожил почти век. Не потому ли, что всю жизнь готовился к смерти? В молодости он ждал ее на Соловках и в блокадном Ленинграде, ждал во время тяжелейших болезней. В старости ждал — потому что был стар… «Ожидание смерти было связано с тем, что я ее не боялся», — сказал он за год до своего ухода. В его записной книжке находим: «Ранним утром 26 марта (четверг) 1998 года я услышал ясно: “Скоро пойдем дальше!” Голос был громкий, как бы внутри меня. Я был в полусне. Я не сразу понял, что это значит, потом догадался».

За этим голосом он ушел 30 сентября 1999 года. К тому времени, я думаю, нерешенных вопросов у него не осталось. Также из записной книжки: «Какой смысл существования Жизни вообще — нам знать не дано. И я могу догадываться — почему, с нравственной точки зрения. Ибо если бы мы знали ответ на это “почему”, знали бы точно (а не только свободно верили в существование Бога), мы были бы лишены свободы. Знание не только достигается свободой, но и лишает на последних своих ступенях свободы человека. Поэтому-то Бог открывается только тем, у кого вера в него достигает уверенности знания, т. е. только

святым».

Добрый человек из Петербурга

Есть народные артисты и народные художники. Лихачев — единственный известный мне народный академик. Не потому, что народ так уж хорошо знал его литературоведческие работы. Подозреваю, что в массе своей народ этих работ не знал. Просто он видел, что деятельность этого человека увеличивает пространство добра. Это то, что понятно всем — вне зависимости от образования и имущественного положения. Говорят, что рука, положенная на лоб, ощущается даже тем, кто находится без сознания. Она понятна ему как знак со-чувствия. Со-страдания. Или благодарности.

Хорошо помню лоб его, покойного. В морге, куда, по просьбе дочери, нужно было приехать за Дмитрием Сергеевичем, еще не было суеты официальных похорон. Можно было спокойно попрощаться. Я положил ему руку на лоб. Лоб был прохладным и слегка шершавым. Это ощущение я вспомнил впоследствии, когда гладил камни Соловецкого монастыря, места его четырехлетнего заключения, — прохладные, но не холодные. Даже неживой своей сущностью источающие мощную энергию добра.

Помимо своих достижений в науке, Лихачев был просто *добрым человеком*. Тем, кто способен помочь или — применительно к суровой нашей действительности — заступиться. Он заступался за коллег перед всесильными «органами» и помогал вернуться в Ленинград ссыльным ученым. Пытаясь защитить Иосифа Бродского от обвинения в «тунеядстве», заказал ему перевод для Пушкинского Дома Джона Донна. Годы спустя они вспоминали об этом, когда Бродский разыскал Лихачева в Венеции. Во время прогулки Бродский подарил ему шляпу гондольера. Никогда не видел Дмитрия Сергеевича в этой шляпе (в память о Бродском она всегда висела за его креслом), но думаю, что романтическое начало Лихачева подарок отражал чрезвычайно точно.

В эпоху перемен его помощь приобрела едва ли не институциональный характер. В Пушкинском Доме не иссякала очередь приехавших *к Лихачеву*. Я думаю, человеку, с устройством русской жизни не знакомому, трудно было бы объяснить, почему к заведующему Отделом древнерусской литературы приходили за поддержкой провинциальные библиотекари, директора институтов, известные политики, учителя, врачи, художники, сотрудники музеев, военные, бизнесмены и изобретатели. Иногда приходили сумасшедшие. Их он тоже внимательно выслушивал и, взяв под руку, медленно

провожал по коридору. Лихачев говорил им, что их идеи важны, но в нынешних условиях неосуществимы. Он предлагал им немного подождать, и его собеседники соглашались. Они были готовы ждать.

К Дмитрию Сергеевичу приходило множество людей с просьбой подписать письма в защиту тех или иных дел, лиц, изданий. Отказывал он редко и по причинам безусловно веским. Когда вопрос казался Лихачеву особенно важным, к напечатанному тексту он приписывал несколько строк от руки. Он знал, что на это отреагируют. Диапазон его заступничества простирался до пределов города (защита петербургской «небесной линии» и сохранение традиционного облика Невского) и — шире — страны (противостояние «повороту рек»).

Для окружавших его он был чем-то вроде Деда Мороза. Образ включает как праздничность происходившего, так и существование по законам сказки. Память без напряжения предлагает десятки историй. Собираясь на свадьбу к аспирантам своего отдела (как это принято в Пушкинском Доме, их звали Татьяна и Евгений), Лихачев поехал в «Пассаж» за подарком. Был конец 1989 года. Изделий сложнее мыла и спичек в ту пору уже не продавали, да и те добывались по талонам и в очередях. Дмитрий Сергеевич вошел в «Пассаж» с мыслью купить кофейный сервиз Ломоносовского фарфорового завода. Этот фарфор он очень ценил, и, надо думать, не зря. О цели своего посещения Лихачев рассказал в отделе посуды. Даже на фоне товарного голода в стране этот отдел поражал зияющей пустотой своих витрин. Продавщица молча переводила взгляд с Лихачева на его шофера. Появление знаменитого академика в отделе посуды ее потрясло. Еще больше ее потряс вопрос о ломоносовском фарфоре. Помещение, пустое еще минуту назад, мгновенно заполнилось народом. Появился директор «Пассажа» и пригласил Дмитрия Сергеевича с шофером в свой кабинет. Лихачев рассказал ему, что хотел было порадовать своих аспирантов, но (характерное движение его длинных пальцев) обстоятельства этого очевидным образом не позволяют. Желание порадовать Татьяну и Евгения директор «Пассажа» нашел вполне законным. По счастью, даже в 1989 году этот человек знал, где искать ломоносовский фарфор, и, не теряя времени, отправил за ним машину. Пока везли фарфор, он угощал своих гостей кофе. Татьяна и Евгений до сих пор хранят подаренный Лихачевым сервиз.

В Лихачеве не было той художественной рассеянности, которая сопровождает ученых литературы и кино. Он всегда был подтянут (даже дома ходил в галстуке), без малейших намеков на

«ученое» неряшество. Вероятно, таким и должен быть настоящий ученый. Неряшество внешнее во многих случаях отражает неряшество мысли.

И в науке, и в жизни он был человеком, способным, поставив цель, ее добиться. Это качество Дмитрия Сергеевича я осознал в полной мере, когда после его смерти обратился к другой знаменитости с просьбой защитить человека, в отношении которого была допущена несправедливость. Я дал ему телефон, по которому следовало позвонить и попросить обратить на это дело внимание. Он связался со мной через несколько дней и сообщил, вздохнув, что не дозвонился. Во время нашего разговора мне подумалось, что Лихачев всегда дозванивался.

После прощания в Таврическом дворце гроб привезли в Князь-Владимирский собор на Петроградской стороне. Всю ночь ученики умершего читали над ним Псалтырь. Моя очередь наступала в два часа. Пройдя мимо уже начинавших выстраиваться телекамер, я подошел к милицейскому кордону. Милиционер проводил меня в храм и закрыл за мной дверь. В лязге закрываемой двери мне почудилось что-то литературное.

Свет в соборе был почему-то отключен. Мрак огромного пространства нарушали два маленьких светящихся круга. Один — от массивной свечи, стоявшей у гроба, другой — от восковой свечки в моих руках. Ею я должен был освещать текст Вечной книги. Прежде чем начать читать псалмы, я подошел к Дмитрию Сергеевичу и долго на него смотрел. Он не имел облика спящего, как это порой бывает у покойников. У него был, скорее, вид человека, прикрывшего на минуту глаза. Готового (жест усталости) провести по ним ладонью.

Когда я заканчивал читать очередной псалом, мой голос еще долго отдавался эхом из мрака — оттуда, где, казалось, нет уже даже пространства. У своего уха я слышал потрескивание свечки и вдыхал ее медовый запах. С грохотом упала большая свеча у гроба. Вниз ее потянул наросший за часы горения сталактит. Я отломил его, вновь зажег свечу и осторожно поднес к изголовью. От движения свечи на лице Дмитрия Сергеевича дрогнула тень, и иллюзия жизни достигла высшей точки. Намекая, возможно, на иллюзию смерти.

Эпоха Лихачева

Долголетие — дар Божий. Оно дается разным людям и в разных условиях. Оно имеет разные задачи. Дмитрию Сергеевичу Лихачеву было суждено родиться в столице крупнейшей империи мира и прожить в ней без малого 93 года. Случились две революции, прошли две мировых и десятки малых войн, а столица перестала быть столицей. За это время был создан и распался СССР. Этот удивительный корабль пошел ко дну так же стремительно, как и возник на поверхности — со всеми его сталеварами и концлагерями, хоккейной командой ЦСКА и пограничником Карацупой — даже не наткнувшись на айсберг. Всё это было *эпохой Лихачева*. Размышляя о долголетии Дмитрия Сергеевича, Фазиль Искандер выдвинул однажды простое и разумное объяснение: Лихачев поставил себе задачей пережить советскую власть. Развивая это предположение, можно было бы, вслед за Дмитрием Сергеевичем, добавить, что настоящий исследователь привлекает максимально широкий материал.

В материале недостатка не было. Даже сквозь страницы малоинтересных наших учебников проступает чудовищность событий минувшего столетия, усугубленная какой-то зияющей их бессмысленностью. Этот исторический материал явился для Лихачева материалом собственной жизни, и *этого* нельзя было бросить в корзину. В течение его жизни чеховские усадьбы и умение пользоваться столовыми приборами сменились нечеховскими очередями в коммунальный туалет, перекличками в соловецких бараках и мумификацией вождей (ловлю себя на странной мысли: уж не азиатская ли затея с мавзолеем сделала неприятие Лихачевым евразийства столь категорическим?). Но этим дело не кончилось. Замкнулся цикл, и удивительным образом возникли новые усадьбы, новые предприниматели, новые дворяне. А он, единственный, в отличие от них, настоящий, без малейшего раздражения наблюдал, как одно время вдохновенно симулирует другое. Особенно ценил сходство в деталях. Когда в начале девяностых люмпенизированный Петербург увлекся семечками, он счел это *явлением*, усматривая прямую аналогию с годами революции. Долголетие — дар Божий. Это двойной дар, когда он дается одному из самых глубоких умов эпохи.

Он был своего рода Ноем русской культуры. Со страниц его книг, как из некоего ковчега, сходили святители, преподобные, благоверные князья и праведные жены. Его работы погружали читателя в совершенно иные времена и обстоятельства — так непохожие на советскую действительность. Используя

революционную метафорику, можно было бы сказать, что за пресловутым пароходом современности шел его спасительный ковчег. Ведь именно он сделал культуру Древней Руси достоянием не только научного, но и общественного сознания. Его эпоха несводима к девяноста трем прожитым им годам. Эпоха Лихачева — это и Древняя Русь, о которой он знал не меньше, чем о своем собственном времени. Он и писал о ней как о чем-то личном.

Необычность его положения в обществе основывалась на том, что он был человеком вне парадигм и иерархий. Это позволяло ему не делать особых различий между общением со своими сотрудниками и высшими лицами государства («и истину царям с улыбкой говорил» — за этой строкой я всегда видел улыбку Дмитрия Сергеевича). Он сам создал свою должность — быть Лихачевым — и более ни в каких должностях не нуждался: его имя открывало любую дверь.

Эта его особая роль — быть человеком вне ряда (вненаходимость, как сказал бы Бахтин) — появилась вовсе не с общественным его признанием. Наоборот, вероятно, само признание явилось ее следствием. Это было сознательной позицией, проявившейся еще на Соловках, а может — и того раньше. Находясь в нечеловеческих условиях лагеря, он был способен бросить на эту жизнь сторонний взгляд. Так, им были написаны статьи о воровском жаргоне и о картежных играх уголовников. Любые обстоятельства он умел сделать материалом для исследования, а ведь исследование само по себе — это уже вненаходимость. Он был способен улыбнуться сочетанию в речи конвоиров матерщины с французским (конвоиры были некогда царскими офицерами). Смех — тоже вненаходимость. Можно предположить, что любовь Лихачева к «веселой» (использовавшееся им выражение) науке, начавшаяся с Космической Академии наук, была формой вненаходимости по отношению к самой науке и в конечном итоге — признанием ограниченности рационального типа познания. Останься Лихачев в границах науки, он бы не был тем Лихачевым, о котором мы сейчас говорим.

Может быть, как раз пребывание в лагере убедило его в необходимости держать с окружающим миром дистанцию, и, обретя свободу, — в той, разумеется, степени, в какой это слово вообще сочеталось с советской действительностью, — он сделал всё, чтобы находиться вне этой действительности. Были ли его занятия древнерусской литературой формой внутренней эмиграции? Объективно — да, и хотя вряд ли только это обстоятельство определило предмет его исследования, именно

оно обеспечило определенную легальность пребывания «вне». Лихачев никогда не стремился к открытому диссидентству, у которого при несомненных его заслугах была одна беда: позиция открытого противостояния системе делала противостоявшего частью самой системы, пусть и с обратным знаком. Лихачев выбрал иной путь: он был не *против* системы, он был *вне* ее.

Эта позиция не имела ничего общего ни с равнодушием, ни с высоколобым презрением к современности, ни тем более со страхом. Когда выбирать приходилось между лаконичными «да» и «нет» (замечу, что на самом деле вопросы в подобной форме перед нами ставятся редко), он не испытывал колебаний. В свое время Н.С.Лесков делал различие между подвижничеством и героизмом, считая последний чем-то однократным, а порой и случайным. Выше он ставил подвижничество, требовавшее постоянного напряжения нравственных сил. Я думаю, по природе своей Дмитрий Сергеевич был подвижником, но жизнь была настолько скверной, что требовала еще и героизма. Здесь можно вспомнить его отказ подписать организованное Академией наук письмо против А.Д.Саха рова, после чего Лихачев был жестоко избит в парадном своего дома. Можно вспомнить и то, что в первый же день путча 1991 года он выступил с резким осуждением путчистов. А ведь его возраст и состояние здоровья предоставляли широкое поле для маневра, и случись ему тогда не выступить против, это в конечном счете было бы оправдано общественностью.

Его смелость не была отсутствием страха по незнанию. Как раз наоборот: его столько раз в жизни пытались напугать, что научили видеть границы этого чувства и преодолевать их. То, что он всегда открывал входную дверь сам, не спрашивая даже, кто за ней стоит, казалось мне чем-то средним между открытостью судьбе и ее испытанием. На мои неоднократные призывы поставить хотя бы дверной глазок он как-то ответил, что это бессмысленно и что если на него решат напасть, то перед глазком поставят безобидного вида старушку.

Его смелость никогда не была патетична. Относительно антисахаровского письма кто-то из сотрудников спросил его впоследствии, правда ли, что это письмо было им разорвано. Он ответил, что такие вещи делались по телефону (с «предложением» ему позвонил тогда академик М.Б.Храпченко). «А кроме того, — добавил он смеясь, — это не мой стиль».

Стиль — это то, без чего феномена Лихачева не понять, то, что для советской власти, возможно, и было самым обидным. Несмотря на свою толстокожесть, в вопросах стиля эта власть была весьма чувствительна. Как иначе объяснить изощренное

преследование Ахматовой, Цветаевой, Бродского и многих других, кто менее всего был склонен заниматься свержением советской власти? Вряд ли эта власть смогла бы сформулировать свои эстетические претензии — и не потому только, что интеллектуализм не был ее сильной стороной. В конечном счете, эти претензии располагались не в сфере эстетики, да и вне пределов рационального вообще. Это было рефлексом, звериным чутьем на несходство. Так по шороху кустов волк безошибочно определяет оленя. Советская власть слушала даже не столько то, *что* сказано, сколько то, *как* это сделано (рискну предположить, что, зарифмуй С.В.Михалков дядистепиным стихом набоковскую «Лолиту», она прошла бы не хуже всех его гимнов). Не только то, о чем говорил и писал Дмитрий Сергеевич, — сама его манера произносить, тембр голоса и жесты намекали на какую-то другую, очень несоветскую действительность. Инстинкт самосохранения толкнул власть на негласный запрет снимать Лихачева. Через некоторое время запрет пал. Предчувствия власти ее не обманули: выступления Лихачева стали ее ежедневным свержением.

Стилевое влияние Лихачева не ограничилось советским временем. Не менее, а может, и более сильным было оно, как ни странно, в последующие годы, когда с мелким криминальным элементом — создавая иллюзию государства физкультурников и военных — на наши улицы пришла мода на спортивные костюмы и камуфляжные формы (криминалитет покрупнее на улицах не появлялся, предаваясь тихому дележу полезных ископаемых). Радикальные перемены в обществе резко изменили стереотипы поведения. Всё, что среда народная выплеснула на поверхность с донной мутью — первые жутковатые ласточки российской олигархии, малокультурные депутаты, косноязычные теле— и радиоведущие, — всё это явилось не просто само по себе. Оно пришло со своей манерой держаться, со своей лексикой и — что хуже всего — с собственными представлениями о прекрасном. Их фильмы в одночасье смели с экрана Иннокентия Смоктуновского и Олега Басилашвили, до бесконечности тиражируя один и тот же уголовно-процессуальный типаж.

Не думаю, что впадаю в преувеличение, полагая, что во многом благодаря публичным выступлениям Дмитрия Сергеевича эта волна не захлестнула нас с головой. Своим появлением на экране он с очевидностью доказывал, что использование придаточных предложений способно украсить речь и что тихий голос гораздо эффективнее крика. Будучи на виду, он привлек внимание к академической среде и интеллигенции в целом, сохранявшей, несмотря на нищету, прежний образ жизни — с

посещением Филармонии, обсуждением новых книг и использованием салфетки за обедом.

Говоря о стиле, нельзя не упомянуть и о внешности Дмитрия Сергеевича. Красивый в молодости, он остался красивым и в дальнейшем. «В дальнейшем» — это чтобы не употреблять слово «старость», которое совершенно не определяет последние десятилетия его жизни. Он очень не хотел быть стариком — не в смысле возраста (возраст для него был равен опыту), а в смысле состояния. Он избегал атрибутов старости и в институт предпочитал ходить без палочки, без особого труда поднимаясь на наш высокий третий этаж. Кстати, у него была даже небольшая коллекция тростей — тростей, не палочек! — но это был вопрос стиля, а не старости: по замечанию одного нашего западного коллеги, всё в Дмитрии Сергеевиче было *gentlemanlike*. Наш коллега и не подозревал, насколько точно он попадал в цель своим определением. В архиве Лихачева хранится его эссе об английских манерах — если не ошибаюсь, неопубликованное. Лихачев был не просто образцом интеллигентности — он был еще и джентльменом в самом английском смысле этого слова.

Закаленный лагерем, блокадой, советской действительностью, он по инерции преодолел и старость. Самое удивительное, что даже в этом случае ему удалось оказаться «вне». Он не принимал ее всерьез, не признавал ее власти и посмеивался над ней — точь-в-точь как когда-то над соловецкими конвоирами. Уже девяностолетним, подписывая книгу для подарка к юбилею одного слависта, он спросил, сколько юбиляру лет. Узнав, что восемьдесят, подмигнул и сказал: «Фу, какой старый!» По воспоминаниям домашних, отказывался надевать шляпу, говоря, что «в Париже шляпы носят только очень старые люди».

Был и еще один способ преодоления старости: не давать себе послаблений. Наряду с молодыми сотрудниками он посещал *все*, даже самые малозначительные, научные заседания, присутствовал во *все* присутственные дни. При всех многочисленных его обязанностях это могло казаться то ли излишним педантизмом, то ли родом аскезы. Наконец, это можно было бы расценить как сопротивление чему-то неизбежному, но только ведь он не просто посещал и не просто присутствовал. Его научные выступления были, пожалуй, самым ярким, что осталось в памяти из тех времен. То, что он говорил, не было ни величавой оценкой мэтра, ни взглядом с высоты птичьего полета. Это были выступления профессионала — с указанием фактов, дат и библиографии.

Перед научными заседаниями были замечательные его

рассказы за чаем. Традиционный секторский чай в среду считался нашим файф-о-клоком, несмотря на то что начинался он обычно около часа дня. Лихачев рассказывал о своих поездках и тех удивительных встречах, от одного перечня которых захватывало дух. Многие знаменитости до сих пор существуют в моем сознании в оболочке его характеристик. Эти зарисовки сопровождались скупыми, но точными жестами. У него были красивые длинные пальцы, на мизинце — перстень. Гуляющая по Летнему саду Ахматова и пришедший к нему в гости Солженицын, общение с Ельциным и поездка в Англию по приглашению принца Уэльского — всё это напоминало сказочный калейдоскоп, неторопливо вращаемый его аристократическими руками. Отблески его стекол до сих пор лежат на наших рабочих столах.

К своей огромной славе он относился спокойно. Не то чтобы он ее не замечал (такого рода кокетство ему было чуждо) — скорее, он нес ее с чрезвычайным достоинством. Когда отмечалось его 90-летие, в переполненном зале Петербургского научного центра одно за другим следовали приветственные выступления. Звучавшие в них похвалы были справедливыми, и произносились они от души, но в какой-то момент за Лихачева стало страшно: как он справится с этим потоком славословий? Что, собственно, на всё это можно ответить? Выяснилось, что за Дмитрия Сергеевича бояться не стоило. Улыбнувшись, он сказал в ответ всего две фразы: «Я благодарен за все добрые слова, сказанные здесь обо мне. Слушать их мне, пожалуй, было бы неловко, если бы не одно обстоятельство: я так стар, что они меня уже не испортят».

Они его не испортили. Они испортили тех, кому эта слава не давала покоя. Уже после смерти Дмитрия Сергеевича журналист А. высказался в том духе, что Лихачев был *назначен* главным интеллигентом страны. Ученый Б. написал, что вокруг Лихачева начала складываться *мифология*. Не думаю, что есть смысл спорить с теми, кто не чувствует разницы между причиной и следствием, необходимым и случайным. Задам лишь два вопроса. Почему главным интеллигентом не назначили А.? Почему мифология не сложилась вокруг Б.? Ответ, в сущности, ясен.

Телевидение показывало Лихачева чуть ли не ежедневно, редкие газеты не цитировали его высказываний, и даже уличные художники, доказывая свою профессиональную состоятельность, в ряду портретов кинозвезд и политиков помещали грустное лицо Дмитрия Сергеевича. Как ни странно, это почти не изменило его жизни. Речь здесь идет не о жизненных принципах: в том, что они остались прежними, нет ничего удивительного. Почти не

изменился ни привычный его уклад, ни круг общения. Соответственно своему положению в обществе ему приходилось играть роль светского лица, но это касалось преимущественно официальных мероприятий. Светских дружб, основанных на знаменитости дружащих, он избегал. В отличие от большинства знаменитостей, внимательно следящих за общественным статусом тех, кто к ним «допущен», Лихачев остался верен своей академической среде.

Его взаимоотношения с окружающими — предмет особого разговора. Некоторые говорят о его беспредельной «благостности», другие — о том, что он мог быть очень даже «грозным». Оценивая все эти высказывания, стоит в первую очередь иметь в виду, что он был человеком огромного темперамента. Темперамент зачастую ошибочно связывается с громким голосом и энергичными жестами, а ведь это не так. Самый сильный темперамент — внутренний. Сильный темперамент — это когда человек, основав монастырь и добившись его процветания, «вдруг» уходит прочь и в лесной глуши основывает другой монастырь. Здесь могут быть и голос, и жесты, но всё это только пена над чем-то клокочущим в глубине. Нередко монастыри основывались молчальниками. Издавая фундаментальные труды по древнерусской литературе, Лихачев написал книгу о садах, занимался Достоевским, Лесковым, был депутатом, возглавлял Фонд культуры и т. д. — при этом всякий раз он начинал сначала. Человек такого темперамента мог быть *разным*. Несмотря на внешнюю сдержанность Лихачева, для людей, его окружавших, этот темперамент был очевиден и в повседневной жизни: как доброе его отношение сквозило во всех его словах и действиях, так и если уж он не любил — то не любил пламенно.

Одним из проявлений этого темперамента было его особое чувство ответственности. Подобно запавшей клавише фортепиано, слово «ответственность» перестало сегодня звучать, его глухой стук не передает той необъятной энергии, которой это слово наполнял Лихачев. Если определять ответственность как расширение человеком пределов своего «я», то логично предположить, что всякая ответственность начинается прежде всего с ясного, почти пронзительного осознания собственного «я». Иными словами, всерьез понятая ответственность как рождается из личного начала, так и присуща может быть только Личности. Пространство же, охватываемое этим «я», зависит от масштаба человека.

Семья — Пушкинский Дом — Город — Страна — Мир. Так, несколько упрощая, можно было бы обозначить сферы

ответственности Лихачева. Это следование выстроено как бы по возрастающей, хотя на деле все эти сферы существовали для него одновременно. Они дополняли и оттеняли друг друга, а порой и сливались.

Всё начиналось с Дома. Круг семьи был для Лихачева главным кругом не только в том смысле, в каком для каждого важна его семья. Здесь можно говорить о чем— то большем. Разумеется, люди его поколения к семье вообще относились по-особому. В годы репрессий семья оставалась едва ли не единственной сферой, где общение было безопасно. Возможно, что отношение к семье бывшего соловецкого узника формировалось и этим. Но внешняя причина — как бы она ни была важна — никогда не станет решающей без особого внутреннего строя, без какой-то особой изначальной склонности. Только этим можно объяснить то, что бóльшая часть его *личного* общения была связана с домашними, что именно в семье находились его самые близкие друзья. Следствием этого внимания было, как мне кажется, то, что все его домашние — люди очень талантливые, жившие своей отдельной жизнью и имевшие собственные семьи, — оставались в первую очередь *его* детьми, внуками, правнуками.

Он и любовь к нему наполняли собой всё существование живших с ним. Эти слова, так часто говорившиеся о его домашних, сейчас мне почти страшно писать. События последних лет наполнили их трагизмом. Воспоминания дочери Дмитрия Сергеевича Людмилы Дмитриевны открываются строками: «Я всегда думала, что не переживу папину смерть, — и вот уже второй год, как его нет, а я всё еще не только живу, но продолжаю ходить в Русский музей, что-то в нем делать, даже читать какие-то доклады, как и предыдущие сорок лет моей работы там. Может быть, меня поддерживает в этом мама, которая, слава Богу, жива, хотя после папиной смерти очень изменилась»[3]. Зинаида Александровна умерла в апреле 2001 года. Три с половиной месяца спустя умерла Людмила Дмитриевна.

Семейное отношение было им перенесено на Отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома (по первоначальному наименованию его до сих пор называют Сектором). Нередко высказывавшееся мнение о том, что долгие годы Сектор был единой семьей, можно было понимать в самом непосредственном фамильном смысле, без приторного идиллического привкуса. В нем, как в любой семье, бывали свои радости и неприятности, и это была *его* семья. Роль его как своего рода *pater familiae* выражалась хотя бы в том, что в Секторе давно уже не было ни одного сотрудника, которого бы он не пригласил

на работу лично. Сейчас мне как-то странно осознавать, что почти четырнадцать лет он был моим *начальником*. Ни слово «начальник», ни используемое в академическом просторечии «шеф» к нему никогда не применялись.

Одному из наших сотрудников Лихачев однажды сказал: «Вы не понимаете, что живете на острове». Это был действительно остров, куда можно было причалить и работать, не обращая внимания на бушующие стихии. Все обитатели этого острова до сих пор готовы ответить за любую строчку, написанную ими и двадцать, и более лет тому назад. На гражданской панихиде кто-то из просвещенного начальства назвал Лихачева главой Лаборатории древнерусской литературы. Несмотря на негуманитарный оттенок слова «лаборатория», такое обозначение можно и принять. В определенном смысле речь действительно могла идти о лаборатории по восстановлению в общественном сознании литературы Древней Руси. Из забвения на свет Божий выходили сотни неопубликованных текстов XI–XVII веков. Венцом этого грандиозного замысла Лихачева явилась двадцатитомная *Библиотека литературы Древней Руси*, последние тома которой выходят сейчас из печати.

Сектор был не только научным сообществом. В нем протекала радостная и по-своему беззаботная жизнь с выездными заседаниями в других городах, с поздравлениями, капустниками, застольями. Дмитрий Сергеевич вообще очень любил пиры и обдумывал в их организации каждую деталь. В годы бессмысленной антиалкогольной кампании он настоял на проведении банкета в честь своего 80-летия в интуристовском ресторане, где спиртное не было под запретом. Дело, разумеется, было не в спиртном (к нему он был вообще равнодушен), а в чувстве собственного достоинства. Если при его жизни мы могли питать иллюзии относительно нашей собственной роли в исключительной атмосфере, царившей как в Секторе, так и вокруг него, после ухода Дэ Эса всё стало ясно.

Он создавал атмосферу храма, и сами собой обозначались вещи, которые в храме делать неприлично. Их и не делали. Это же можно отнести и к нескончаемому потоку посетителей Лихачева, состоявшему из людей весьма и весьма разных. Можно было наблюдать, как они подтягивались в его присутствии. Порой складывалось впечатление, что в его кабинете они открывали в себе неведомые им самим запасы благородства или несвойственные прежде лексические пласты. То, как они пытались говорить с ним *его* языком, было подобно первым послеоперационным шагам — трогательно и обнадеживающе.

Дмитрий Сергеевич Лихачев был младше Пушкинского Дома

всего на год. На его памяти писалось последнее стихотворение Блока, посвященное нашему Дому, хотя сам Лихачев — сейчас трудно поверить, что было и такое время, — в нем тогда еще не работал. Впрочем, и Блок кланялся не нынешнему пушкинодомскому зданию: «с белой площади Сената» он видел колонны здания Академии наук. Для ученых, входивших в Пушкинский Дом двадцать, тридцать, а то и со рок лет назад, Д.С.Лихачев давно уже являлся легендой. После Пушкина он стал, пожалуй, главным символом этого Дома.

Все мы располагались в общем с ним петербургском пространстве, но только, в отличие от нашего, *его* пространство обладало невероятной глубиной времени. Всякий дом в городе мог кивнуть ему, как давний знакомец, потому что у них был свой особый тет-а-тет, длившийся многие десятилетия. Так, проезжая мимо Филармонии, он мог неожиданно вспомнить, что в этом доме происходило судилище над митрополитом Вениамином: под окнами стояли сотни людей, певших «Спаси, Господи, люди Твоя». Глядя на мраморную колонну пушкинодомского конференц-зала, он видел призрак каждого, кто, растаптываемый «проработчиками», опирался на нее, не в силах стоять на ногах. Из окна его кабинета было видно университетское общежитие на Мытнинской набережной (ныне не существующее). Он помнил, как медленно и по-особому трагично горел этот дом во время блокады. Медленно — несколько дней — он горел потому, что бомба разорвалась на крыше, и огонь шел сверху вниз.

Он знал Петербург как мало кто другой и относился к нему с той особой заботливой любовью, которую народная речь облекает в емкое слово «жалеть». Жизнь Лихачева разворачивалась на фоне постепенного, но всё более очевидного заката великого города, целенаправленно уничтожавшегося репрессиями, блокадой, а в постсоветские годы — уродливой политико-экономической ситуацией, когда финансовые ресурсы огромной страны сосредоточились в коррумпированной столице. Всё, что происходило с городом последние восемьдесят лет, удручало его не в смысле традиционного противостояния москвичей/ петербуржцев — подобные споры не соответствовали его масштабу и им никогда не поддерживались. Это было сожаление другого рода. Лихачев считал характерным и полезным для Руси-России наличие двух столиц: одной — внутренней (Киев, Москва), и другой — пограничной, обращенной к Европе (Новгород, Петербург). Так поддерживался некий геополитический баланс. Характерно, что потеря «пограничными» столицами своего значения происходила на фоне движения к тоталитаризму. В научной сфере — и Лихачев был тому

свидетелем — это движение выразилось в принудительном переводе руководства Академии наук в Москву. Возвращение Академии туда, где она возникла, было бы не просто исправлением исторической несправедливости: такой шаг был бы в высшей степени полезен для научной жизни России.

Заботившийся о достойном положении Петербурга, Дмитрий Сергеевич менее всего представлял его в виде московского благополучия. Он понимал, что у «города трагической красоты» свой путь, не связанный ни с развитием промышленного производства, ни с монументальным творчеством З.Церетели. Размах этого города проявляется в ином измерении и не имеет ничего общего с величиной или громкостью. «Тихий» Бродский никогда не выступал на стадионах, но из поэтов того (да и не только того) поколения его голос сейчас слышнее других.

Наличие великолепных музеев и библиотек обеспечивало городу определенный иммунитет по отношению к тому, что в разное время происходило в стране. Само их присутствие в городе, их удивительное энергетическое поле позволяли всякий раз восстанавливать то, что было потеряно или отобрано. Особая предназначенность Петербурга виделась Лихачеву на разных уровнях — от его уникальной ауры до того очевидного факта, что культурный потенциал города является, по сути, его «промышленностью». Вероятно, именно такое восприятие города сблизило Лихачева с А.А.Собчаком, чье мышление было масштабно и непровинциально. Работа на благо Петербурга являлась одной из важнейших сфер деятельности Дмитрия Сергеевича.

Следует отметить, что его взгляд на Петербург не был вполне традиционным. «Не просто близость и схожесть с Европой, как это часто трактуют, а именно концентрация особенностей русской культуры. Эта концентрация сделала Петербург одним из самых русских среди русских городов. Он самый русский среди русских и самый европейский среди европейских городов!»[4] К этому можно, наверное, добавить, что русскость Петербурга состоит, среди прочего, и в том максимализме, с которым этот город утверждал свой европейский облик.

Вообще говоря, слово *Европа* было для Лихачева одним из самых важных — в том числе и в науке. При всём том, что к знаменитой идее Предвозрождения на Руси он пришел исходя из анализа русского материала, трудно не предположить, что фоном для нее было стремление найти общий знаменатель для разных ветвей европейской культуры. Иными словами, Русь в этом построении мерилась западноевропейскими мерками, что можно толковать как косвенное признание их универсальности.

Понятие «европейский» имело для него прежде всего культурологический — и ни в коем случае не географический смысл, что позволяло ему распространять это определение далеко за рамки собственно Европы. Более того, создается впечатление, что «европейскость» в значительной степени являлась у него этической категорией. Так, выделяя характерные черты европейской культуры, Лихачев называл три основных ее компонента, которые возводил к христианству как основе европейской культуры. Первый из них — личностный характер. Этот компонент выводился им из ярко выраженного персонализма христианства. Второй — восприимчивость к другим культурам. Он связывался с универсализмом как одним из важнейших принципов христианства. Комментируя, в частности, упоминание Достоевским русской «всечеловечности» на Пушкинских торжествах, Лихачев отмечал, что на самом деле это качество является определяющим для всей европейской культуры в целом. Наконец, третьим важнейшим компонентом европейской культуры Лихачев считал свободу самовыражения. Эти компоненты создавали, по его мысли, неразделимую триаду, в которой существование любого из них невозможно без существования двух других.

Разумеется, история европейской культуры знает немало топких мест, способных лишить подобную теорию твердого грунта. Словно предчувствуя возражения против предлагаемого им построения как в значительной степени идеального, Дмитрий Сергеевич выделял в европейской культуре обширную сферу неевропейского. К ней им относились философемы большевизма и национал-социализма, применительно к более позднему времени — отношение к русским в постсоветской Прибалтике. Неевропейской он считал войну против Сербии, страшную разрушением не только балканского государства, но и самой идеи международного и личного права — идеи, которая вызывала такое сочувствие еще у европейцев римлян. В одном из писем ко мне (я был тогда в командировке в Мюнхене) Лихачев сокрушался о разрушенных бомбардировками средневековых сербских церквях — европейских церквях. «Меня лично больше всего поражает полное игнорирование американцами святынь Косова поля», — писал Дмитрий Сергеевич. Он не дожил до Иракской войны, но я полагаю, что и такого рода экспорт демократии он охарактеризовал бы как поведение неевропейское.

Геополитика и политика не входили вроде бы в сферу его профессиональных интересов, но без упоминания его внимания и к этой области портрет Лихачева был бы неполным. Он понимал, что политика — это то, что впоследствии превращается в

историю, а история, уж конечно, была по его части. В его постоянной готовности озвучить свою гражданскую позицию мне также видится определенная европейская, может быть, даже западноевропейская традиция. Мне запомнилось последнее замечание, адресованное им Кремлю: «Следует иметь в виду, что после распада Союза Россия стала гораздо более северной страной». Очень естественно, что такая фраза прозвучала именно из Петербурга.

Может быть, как раз петербургское гражданство Лихачева обусловило особенности его чувства к Родине. Это было чувство жителя русского европейского — а значит, и мирового — города. Если угодно, это был патриотизм космополита — космополита в высшем, христианском понимании этого слова — любовь к своему как к части общего, любовь через утверждение себя, а не через унижение других. Его любовь к России и русской культуре была глубокой и естественной, не зависевшей ни от современного ему состояния страны, ни от переменчивой моды на слово «патриотизм».

Его любовь никогда не была созерцательной, ее ближайшим синонимом было неоднократно уже здесь употребленное слово «ответственность». Его доброта не была благо*душием* (пусть такое состояние души и достойно в высшей степени), она была благо*творительностью*, потому что непременно оказывалась связанной с действием. Вопреки расхожему представлению об ученых, Лихачев был человеком волевым и вполне практическим. Была ли это лагерная закалка или длительный опыт советской жизни, но он умел достигать поставленной цели. Он хлопотал о квартирах для сотрудников, устраивал их в больницы и — что было совсем небезопасно — ограждал от преследований.

Это была особая, сейчас, возможно, не всем уже понятная, благотворительность советского времени, являвшаяся, скорее, родом заступничества. Для себя, насколько мне известно, он ничего не просил. Человека его возраста, опыта и убеждений трудно было как-либо облагодетельствовать — так же, собственно говоря, как и чего-то лишить. Это почти диогеновское его качество, раздражавшее прежнюю власть, было оценено властью новой. Какое-то время Дмитрий Сергеевич был председателем Фонда культуры, но, ввиду определенного разочарования, постигшего его на этом посту, проекты, сочетавшие слова «чиновник» и «деньги», стали восприниматься им не без скепсиса. И при жизни Лихачева, и после его смерти таинственная энергия его имени привлекала многочисленных предприимчивых людей, способных конвертировать метафизическое в материальное.

Стертая метафора «жизненный путь» хороша тем, что

передает некую устремленность пережитого, не делает его механической суммой событий. Мне кажется, что, будучи христианином, Дмитрий Сергеевич рассматривал свой путь как движение вертикальное, как дорогу к небесной родине. Может быть, поэтому для него так важны были оценка и осмысление этого пути, предпринятые в «Воспоминаниях», одной из самых важных его книг.

Из того многого, что случилось от него услышать, он записал, как кажется, незначительную часть. Его «Воспоминания» посвящены, за небольшими исключениями, событиям первой половины века. Почти ничего не написано им ни о его «звездном» периоде, ни о многочисленных встречах со знаменитостями. Вероятно, чувствуя ограниченность своего времени, он спешил сказать о главном. Он спешил записать также то, чему свидетелей уже почти не осталось, и, я думаю, мало кто подходил для свидетельства об уходящей эпохе больше, чем он.

Не все живущие в то или иное время являются его свидетелями. Так, к свидетелям не относятся прежде всего те, кто по отношению к своему времени не сумел соблюсти дистанцию. А он сумел. Тон его книги не столько обличающий, сколько свидетельский. Это спокойный тон человека, способного видеть не только окружающее, но и нечто за горизонтом. Написанные от первого лица, «Воспоминания» в большой мере созданы «за» других: за полузабытых ныне филологов, философов, поэтов. Он извлекал из небытия тех, для кого его память оставалась единственным шансом. В определенном смысле эта книга написана за всех «невеликих» его современников, безгласно враставших в родную почву.

Он свидетельствовал не только о людях. В сферу его свидетельской ответственности входили цвета, запахи, звуки, на фоне которых все эти годы творилась история. Они не просто обрамляли историю, они были самым непосредственным и реальным ее планом, который по странности и становится первой жертвой забвения. За скрупулезными описаниями «Воспоминаний» открывается иное измерение, где свидетельство об обычных, казалось бы, людях и вещах обретает свой самый глубокий и радостный смысл: «Бог сохраняет всё».

Однажды я спросил у него, не собирается ли он писать продолжение «Воспоминаний». Он ответил, что хотел бы, но… (здесь следовал неопределенный жест, выражавший, возможно, огромную его занятость, а возможно — и неуверенность в том, что отпущенное ему время окажется достаточным). Результатом этого разговора явился план книги воспоминаний-интервью, в которой он отвечал бы на вопросы человека другого поколения:

эта разность поколений создавала бы некое поле, в котором прошедшее обретало бы дополнительные оттенки. План этот подкупал и своей временной обозримостью: предполагалось использовать диктофон. Принимая вопросы и диктофон (его предоставил Фонограммархив Пушкинского Дома), Дмитрий Сергеевич деловито уточнил особенности звукозаписывающего устройства, и я подумал, что создание книги — вопрос полугода.

Из этого ничего не получилось. Я уже не помню сейчас, с какими словами примерно через месяц он вернул диктофон, но дело, в общем, и не в этих словах. Только спустя время я подумал, насколько странно было бы представить его диктующим на магнитную пленку. Допускаю, что он мог бы рассказать так о чем-то постороннем, но не о собственной жизни. Он был человеком *письменного* текста и всерьез доверял только бумаге. Это особое письменное начало проявлялось во всем — от его знаменитых книг до сугубо частных записных книжек и записок домашним. Подобная преданность письменному тексту была характерна, кажется, только для Набокова, даже интервьюерам отвечавшего исключительно пером. В конце жизни Дмитрий Сергеевич имел компьютер, но не пользовался им, предпочитая свою старую машинку «Ундервуд», а еще чаще — авторучку. Большая часть из того, что хранится в его огромном архиве, им *написана.*

Из желания рассказать о чем-то, что осталось за кадром «Воспоминаний», после смерти Лихачева родилась идея издать воспоминания о нем. Дерзкая мысль — не является ли плюсквамперфект его мемуаров своего рода приглашением к продолжению? — посещала, вероятно, многих. Но еще в большей мере идея книги воспоминаний о нем была вызвана естественным стремлением к справедливости. Тот, кто свидетельствовал о стольких людях (ведь «Воспоминания» менее всего посвящены ему самому), вправе иметь и своих свидетелей. Разумеется, эти свидетельства ограниченны: так, никто и никогда уже не напишет о детстве Лихачева (еще при жизни у него почти не осталось ровесников), а тех, кто помнит его с довоенного времени, можно пересчитать по пальцам одной руки. Существовала, однако, возможность описать более позднее время. Это и было в конце концов сделано без малого восемью десятками авторов[5].

Книга делалась с любовью. Может быть, поэтому всем, кто принимал участие в ее создании, хотелось избежать излишней «лепоты» и стерильности, характерных для многих изданий *in memoriam*. Книга получилась живой. Менее всего она виделась тяжеловесным памятником, а если уж памятником — то теплым и доступным, которого, как шемякинского Петра, можно коснуться рукой. Ведь по большому счету изданная книга — не об умершем

человеке и не об ушедшей эпохе. Следуя русской традиции помещать всё лучшее в будущем, можно сказать, что книга — о человеке, опередившем свое время. Это позволяет надеяться, что его эпоха еще впереди.

Лев Александрович

Я познакомился со Львом Александровичем Дмитриевым в 1986 году, когда поступил в аспирантуру при Отделе древнерусской литературы Пушкинского Дома. Это было поздней осенью. Придя в отдел, я увидел там Дмитриева. Он стоял у стола и держал картотеку адресов. Это были адреса тех, кто приглашался на 80-летие Дмитрия Сергеевича Лихачева. Дмитриев вручил мне конверт с приглашением. Этот конверт до сих пор лежит среди моих бумаг как память о начале новой, послеуниверситетской жизни, куда приглашал меня Лев Александрович.

Если в маленьком древнерусском сообществе Пушкинского Дома Лихачев был главнокомандующим, то Дмитриев, безусловно, был начальником генерального штаба. Такое сравнение имеет биографические корни: какое-то время Лев Александрович действительно служил в штабе, и об этом время от времени любил вспоминать Лихачев. Дмитрию Сергеевичу казалось, что абсолютная надежность Дмитриева не в последнюю очередь связана именно с этим.

Отдел готовил юбилейное поздравление. Оно предполагало выступления тех древнерусских персонажей, о которых писал Лихачев. Льву Александровичу досталась роль святого Владимира. Я уже плохо помню слова, которые он произносил, но интонации его сохранились в памяти очень ясно. С тех пор, если заходит речь о Владимире Святославиче, «мысленным взором» я вижу Льва Александровича. Любой текст рождает зрительный ряд. Читая летописную «Речь Философа», легко представить, как ее мог бы слушать Дмитриев — сидя вполоборота к столу, глядя из-под косматых бровей, — так, как он встречал всех входящих.

Лев Александрович был человеком непатетическим. Его поведение — и в жизни, и в науке — было обычно сдержанным. Изредка, когда ему что-то совсем уж не нравилось, мог высказаться весьма энергично. Наиболее полно его манера объемлется словом «естественность». Оказываясь в тех или иных ситуациях («весь мир — театр»), большинство людей этим ситуациям подыгрывает: с солдатами — по-солдатски, с крестьянами — по-крестьянски, а с профессорами — по-профессорски. Я не помню, чтобы Дмитриев когда-либо изменил своему голосу. В любом эпизоде он естественным образом оставался самим собой.

Из этого постоянного равенства самому себе следовало еще одно важное его качество, определение которому дать не так-то

просто. Оно лежит где-то на полпути между «терпимостью» и «уважительностью», но ни к тому, ни к другому не сводится. Я бы определил это качество как некий дар доброжелательного внимания к человеку. Пытаясь рассказать немецким друзьям о Дмитриеве, я употребил европейское слово «толерантность». Может быть, толерантность. Для нас, привыкших мыслить в категориях эпических, это скромное слово всё еще непривычно. Оно, среди прочего, обозначает способность принять человека таким, каков он есть.

Всегда остававшийся самим собой, Лев Александрович предполагал это же качество за всеми его окружавшими. В этом заключалась доброжелательность его внимания. Он воспринимал человека во всей его самостоятельности. Не как представителя солдат — крестьян. Как представителя себя самого, внеклассово и вненационально. Вот почему с крестьянами по-крестьянски — никогда. Человека нельзя унижать (сужать? уменьшать?), отождествляя его с кем-либо. Частное богаче общего, ибо общее в лучшем случае — схема, в худшем — выдумка. Умозаключения, основанные на общих представлениях, на конкретных людей Дмитриев не переносил. То, о чем я говорю, им не формулировалось: такова была суть его общения с людьми.

Даже в самые непростые годы Дмитриев не был ни комсомольцем, ни коммунистом. С властью он не боролся, просто держался с достоинством. Удельный вес зла во все времена, надо думать, одинаков, кто бы ни были его носители — опричник, эсэсовец или энкавэдист. Но держаться с достоинством — один из тех способов борьбы со злом, которые доступны почти всегда. Держаться так, будто «их» нет.

Доброжелательное внимание позволяло ему ладить с представителями самых разных взглядов. С представителями, не со взглядами. Взгляды самого Льва Александровича всегда были определенны. Эта полная определенность привлекала к нему не только его единомышленников, но и людей противоположного склада. Я думаю, всякий человек шире своих взглядов, и взгляды не есть нечто ему имманентное. Уровнем взглядов ограничивается поверхностное общение, общение же глубокое касается каких-то других, более важных струн. Это удавалось Льву Александровичу.

Первые годы после его ухода мне было странно, что его нет. Странно, что он не появлялся со своим неизменным портфелем. В костюме, при галстуке. Иногда под пиджаком джемпер, и всегда — галстук. В моем сознании он всё еще был здесь. Продолжал выходить, спеша, из отдела. Или, наоборот, — медленно, задержавшись у двери. Улыбаясь.

Он часто улыбался. Например, когда говорил тосты. Начинал их одинаково: «Вот я и жена моя, Руфина Петровна…» — я думаю, в единственном числе он себя просто не мыслил. А жена его, Руфина Петровна, была замечательным ученым, работала в нашем отделе и занималась Житием святых Петра и Февронии: тут уж случайных вещей не бывает.

Накануне защиты Руфиной Петровной докторской Лев Александрович оплатил в ресторане зал.

— А если она не защитится? — спросил его кто-то.

— Тогда будем отмечать мое шестидесятилетие, — ответил он не задумываясь.

Несколько раз они вдвоем приезжали к нам с же ной в гости. Однажды — это было в конце восьмидесятых — мы собрались выпить подаренный кем-то французский коньяк. Такими напитками тогдашнее население избаловано не было, и при откупоривании бутылки возникла проблема. Лев Александрович, открывший на своем веку не одну бутылку, здесь оказался бессилен. Как человек (тогда) молодой, коньяк попробовал откупорить я, но — с тем же успехом. Присутствующие были подавлены. Неожиданно кто-то из дам (я всегда считал, что их глаз острее) обратил внимание на красную ленточку у горлышка. Сняв ленточку, мы открыли пробку с тихим мелодичным хлопком.

— Надо же, — Лев Александрович задумчиво повертел пробку в руках, — у них там всё для людей.

Несмотря на благоухавший в наших рюмках коньяк, мы еще какое-то время погрустили. Наша грусть носила социальный, я бы даже сказал — гуманистический характер. Задумываясь о своей собственной стране, мы осознавали, что в ней, увы, еще не всё для людей. Даже, может быть, совсем немногое.

По возвращении домой Лев Александрович сообщил по телефону, что они с Руфиной Петровной благополучно добрались, и поблагодарил за вечер. Он всегда так поступал, и нас это очень трогало. А повторить вот не получается.

Подобно Петру и Февронии, Лев Александрович и Руфина Петровна обладали сильными характерами, но их союз это удивительным образом только укрепляло. «Вот я и жена моя…» — рука на ее плече. Руфина Петровна качала головой. «Как за казахом», — коротко характеризовала она положение вещей: нарочито спокойным тоном, с северной такой отмашкой. С бесконечной любовью.

Смерть Льва Александровича ее сломала. Она прожила еще несколько лет, но была в эти годы уже совершенно другой. И в этом смысле они, подобно Петру и Февронии, умерли в один

день.

Их больше нет. Вспоминается всё вперемешку.

На Новый год Дмитриевы с внуками всегда ждут Деда Мороза. Под видом Деда Мороза к ним приезжает милейший Саша Розов, сотрудник Отдела фольклора (бывавший, кстати, и у нас в доме). Розов-Дедморозов, как называл его внук Льва Александровича и мой крестник Петя, сумевший вывести Деда Мороза на чистую воду. Петя — проницательный мальчик: Розова выдает избыточное знание фольклора. Петя давно вырос. Любовь к достоверности сделала его историком.

Время продовольственных трудностей и так называемых заказов. В Пушкинском Доме вывешиваются списки продуктов, которые каждый сотрудник может заказать по некоммерческим ценам. Дело опять-таки перед Новым годом. Доставка заказов задерживается. К тому времени, когда их наконец привозят, Лев Александрович уезжает домой. Выясняется, что в них что-то скоропортящееся, и я решаю отвезти заказ Дмитриевым. Лев Александрович и Руфина Петровна предлагают мне чаю. Эпизод бессюжетный: чистое настроение. Ощущение беспричинной радости, почти счастья — просто от созерцания света их жизни. Вот мы сидим вместе. И я пью с ними чай. И сам я — немного Дед Мороз, разносящий продуктовые заказы. И приближение Нового года. И моя собственная радость, ждущая меня дома.

Кладбище в Комарове. Отдел навещает могилу бывшей заведующей Варвары Павловны Адриановой-Перетц. Уходя с кладбища, мы со Львом Александровичем оказываемся рядом у ворот. На них фанерный щит «Расписание работы кладбища». Наши взгляды встречаются, мы улыбаемся.

— Я бы добавил: к сведению покойников, — говорит Лев Александрович.

Встреча у могилы нашего коллеги Владимира Ивановича Малышева на Серафимовском кладбище. Второе мая. Канавы вокруг кладбищенских участков полны черной ледяной воды. От могилы к могиле перебираемся, прыгая с дощечки на дощечку. Эти поминания всегда светлы. Чаще всего стоят прохладные прозрачные дни с неправдоподобно голубым небом. Такие дни в Петербурге бывают только весной. Лев Александрович приходит одним из первых. Руфина Петровна остается дома и готовит угощение. После кладбища все едут к Дмитриевым помянуть Владимира Ивановича.

На этом же кладбище похоронили Льва Александровича. Оттого, что он лежит там, где поминал своего друга, к мысли о его смерти привыкнуть еще труднее. Тяжело понять, как вообще могла произойти перемена ролей на маленьком пространстве

кладбища.

Есть люди, которые почему-то вызывают мысль о том, что все когда-нибудь умирают. Чаще всего эта мысль связана с теми, кто выказывает страх смерти. Лев Александрович к таким людям не относился. Что до страха, то я не думаю, что он вообще чего-то боялся. Он внушал спокойствие. Имею в виду не только дела повседневные, но что-то большее.

Снова Новый год. 1993-й. Мы с семьей встречаем его в Мюнхене. Отправляем поздравление в отдел. В нем, среди прочего, высказываем предположение, что из всех видов деятельности встреча Нового года — один из важнейших. Приятно думать, что это прочтет и Лев Александрович, знающий цену дружбе и общению. Почему-то приходит в голову, что если по смерти нам будет дано что-либо припомнить, то это могут быть вещи на первый взгляд малозначительные: какие-нибудь дни рождения, встречи Нового года. Листая из инобытия эти пожелтевшие картинки, мы еще раз ощутим, что это было самое сердечное, самое трогательное прикосновение к ближним.

О смерти Льва Александровича мы узнали через неполных два месяца. На сороковой день были уже в Петербурге, в квартире Дмитриевых. Гости прощались, кто-то взял на руки маленького Петю — чтобы утешить. Высоко поднял. Спросил:

— Хочешь, я посажу тебя на полку для шляп?

— Зачем же? — сказал Петя. — Там не место для людей.

Воспоминание Льва Александровича. В блокаду на улице его поразила куриная слепота. В глазах — мутный полумрак. Не видно ничего, кроме зыбкого контура крыш.

— Как же вы дошли до дома? — спрашивают его.

— Я смотрел вверх, — отвечает Дмитриев. — Следил за линией крыш. Она была видна на фоне неба.

Бывают случаи, когда бесполезно смотреть под ноги.

Кунсткамера в лицах

Пришло время рассказать о двух сотрудниках Кунсткамеры — Юрии Валентиновиче Кнорозове и Лидии Георгиевне Нечаевой. С Юрием Валентиновичем я знаком не был, а Лидию Георгиевну знал хорошо. Она — моя родственница.

Юрий Валентинович расшифровал письменность майя. Ученики Кнорозова считают его гением и, судя по всему, имеют на то основания. Лидия Георгиевна занималась историей народов Кавказа, но о высказываниях ее учеников мне ничего не известно. Я даже не знаю, существуют ли они.

Юрий Валентинович был кабинетным ученым. «Чтобы работать с текстами, — говорил он, — нет необходимости лазать по пирамидам». Лидия Георгиевна постоянно ездила на раскопки. В возглавлявшихся ею экспедициях принимал участие Лев Николаевич Гумилев. Она обследовала погребальные сооружения Северного Кавказа и на основании своих находок написала книгу «Происхождение осетин», так до сих пор и не изданную.

У Лидии Георгиевны был один день рождения (30 мая 1920 года), у Юрия Валентиновича — два. По паспорту днем его рождения было 19 ноября 1922 го да, но более приемлемым ему по каким-то причинам казалось 31 августа. Философское отношение к действительности позволяло Кнорозову признавать обе даты, так что поздравляли его два раза в год.

Несмотря на такое несходство между Лидией Георгиевной и Юрием Валентиновичем, было в их судьбах много общего. Эта общность проявлялась как в вещах внешних, так, несомненно, и в чем-то более внутреннем.

Оба они в свое время жили в Русском музее. Точнее, она — в Русском музее, он — в соседнем Этнографическом музее, отделившемся от Русского музея в тридцатые годы. В том, чтобы сотрудники жили при музеях, прежде не видели ничего необычного. Решая проблемы быта сотрудников, заодно, очевидно, укрепляли их связь с местом работы. Делали их существами в высшей степени музейными.

В отличие от Юрия Валентиновича, поначалу служившего в Этнографическом музее, Лидия Георгиевна в Русском музее не работала. К Русскому музею имел отношение ее отец, художник Георгий Дмитриевич Нечаев, по семейным воспоминаниям, ставший в Первую мировую георгиевским кавалером. В этих воспоминаниях он остался как дядя Гуря — не слышал, чтобы его называли как-то иначе.

Вначале дядя Гуря заведовал Музеем Аракчеева в Грузине:

существовало до войны и такое учреждение (оно было филиалом Русского музея). В тридцатые годы он стал заместителем директора Русского музея. Его с дочерью Лидой, женой Людмилой и родственницей Ольгой поселили в музейном флигеле Росси. В ту же блокадную зиму они перебрались в соседнее здание, выходящее окнами на Михайловский сад. Им казалось, что в другой квартире (она размещалась на первом этаже) им будет чуть теплее.

Теплее не стало. Не стало и сытнее. Ели столярный клей, которым дядя Гуря до войны клеил рамы. Обдирали со стен обои и варили их. Дядя Гуря страдал особенно (в семье говорили, что мужчины переносят голод хуже). В ту блокадную зиму он съел семейного любимца кота. Теперь уже не узнать, как всё происходило, но мне почему-то кажется, что он убил кота, чтобы тот не кричал от голода. А потом съел. В ту же зиму дядя Гуря умер.

Родные могли бы вытащить тело на улицу, где его подобрала бы похоронная команда, но этого не сделали. Они не хотели хоронить его в общей могиле. Его просили подождать до тех пор, пока не соберут нужного количества хлебных карточек: похороны в блокадном городе стоили дорого. И дядя Гуря ждал, он вел себя как настоящий георгиевский кавалер. Лежал прямо в комнате и не разлагался — так было холодно. Он провожал своих женщин, когда они уходили, и встречал их, когда они возвращались. И они не боялись его, потому что сами, в сущности, были не многим живее. Граница между мертвыми и живыми была тогда несущественной. Они продолжали любить его как живого.

Женщины отправлялись за карточками и получали на них хлеб. Лидия ходила на лесозаготовки. Однажды на Троицком (тогда — Кировском) мосту ее и Ольгу застал авианалет. Впереди шедшему парню оторвало голову. Голова медленно катилась к ним, и в ее широко открытых глазах отражался их собственный ужас перед бомбежкой. Лидия и Ольга ползли по мосту, царапая ногтями лед. И голова продолжала катиться. В сравнении с немецкими самолетами она не казалась им страшной.

Дядя Гуря ждал безропотно — более месяца. Им удалось похоронить его. И они пережили блокаду. К концу войны Лиде было двадцать пять лет. У нее не осталось ни одного зуба.

Конец войны застал Юрия Валентиновича под Москвой. Он служил телефонистом артиллерийского полка. В одной из газет 1950х почему-то написали, что Юрий Валентинович брал Берлин. Возможно, с точки зрения тогдашних представлений о должном, это более приличествовало тому, кто расшифровал письменность майя. Я допускаю, что обе версии окончания Юрием

Валентиновичем войны были правильными. У людей с двумя днями рождения взаимоисключающие факты не обязательно противоречат друг другу.

После войны Юрий Валентинович был принят на работу в Музей этнографии. В комнате-пенале, предоставленной ему Музеем, он и занимался расшифровкой письменности майя. В отличие от Ж.Шампольона, расшифровавшего египетские иероглифы, Кнорозов не имел текстов в переводе на современные майя языки. Крупнейшими специалистами в области культуры майя расшифровка этой письменности была отнесена к области утопий. Но он ее расшифровал.

Свои успехи в дешифровке Юрий Валентинович до определенной степени связывал с ударом, полученным им в детстве. Во время игры в крокет кто-то из братьев попал ему шаром в лоб. Дело грозило обернуться слепотой, но — обошлось. Какой бы ни была связь — временной или причинной — между ударом в лоб и даром дешифровки, Кнорозов рекомендовал «будущих дешифровщиков бить по башке». Единственная неясность для него состояла здесь в том, как именно это следует делать.

Расшифровку письменности майя Юрий Валентинович собирался защищать как кандидатскую диссертацию. Идя на защиту, он совершенно не представлял, чем она кончится. Проблема состояла в том, что, по убеждению Ф.Энгельса, в доклассовом обществе (каковым он считал цивилизацию майя) фонетическое письмо отсутствовало. Существование письменности майя противоречило домыслам немца, что могло стать непреодолимым препятствием как для защиты, так и для самой письменности.

Всё, однако, сложилось наилучшим образом. Не глядя на портрет Энгельса, Юрий Валентинович развесил в конференц-зале таблицы. Доклад диссертанта длился ровно три минуты. После паузы дама из Ученого совета спросила исследователя, что значит один из значков на таблице. «Понятия не имею», — ответил Юрий Валентинович. Ученый совет принял решение присвоить защищаемой диссертации докторскую степень. Лицо Энгельса исказила судорога.

Знаменитое немногословие Кнорозова проявилось не только на его собственной защите. Будучи официальным оппонентом одного знакомого мне ученого, за две недели до защиты он, согласно правилам, должен был предоставить свой отзыв. Отзыва не было ни за две недели, ни даже за день. Знавшие оппонента лично не могли быть уверены даже в том, что он появится на защите. Он появился. Выйдя к трибуне, Юрий Валентинович

сказал: «Диссертацию я прочитал, и она мне понравилась. Ее нужно защищать». В ответ на ожидающее молчание зала он добавил: «Всё». Отзыв диссертант писал на себя сам.

Вскоре после своей триумфальной защиты Кнорозов перешел работать в Кунсткамеру. Работая с Лидией Георгиевной под одной крышей, он, несомненно, должен был быть с ней в определенной степени знаком. В какой — не знаю, потому что о Юрии Валентиновиче она мне никогда не рассказывала.

Мое представление о ее работе долгое время определялось одним единственным к ней визитом. Моей бабушке (своей кузине) и мне, одиннадцатилетнему, она показывала Кунсткамеру. Подобно десяткам тысяч посетителей Кунсткамеры, бесчисленные этнографические витрины я покорно прошел ради одного: знаменитой коллекции уродов. Впечатление было сильным, но не сказать чтобы радостным. Место работы тети Лиды мне показалось мрачноватым. В ту пору я еще не знал, что в академических учреждениях обитают сотрудники гораздо более экзотические. Они свободно разгуливают по институтам и даже выступают на собраниях. Поместить их в банку нет никакой возможности.

Впрочем, жизнь в Кунсткамере была не такой уж мрачной. Она имела свои краски, и роль в этом Юрия Валентиновича оказалась далеко не последней. Рутинные вещи его присутствие превращало в незабываемые события. Так, по окончании одной из московских конференций сотрудники Кунсткамеры ехали на Ленинградский вокзал. Добираться решили в такси. Сев в машину, коллеги обнаружили отсутствие Юрия Валентиновича. Поскольку такси он ловил вместе с остальными, все выскочили из машины и бросились его искать. Специалист по культуре майя, еще минуту назад стоявший у такси, словно растворился в воздухе. После тщательных поисков было принято неизбежное решение ехать на вокзал. На вокзале Юрий Валентинович вышел из машины вместе со всеми. Этот путь он проделал в багажнике.

Другая история была связана с нелюбовью Кнорозова к общению с журналистами. Стоит при этом заметить, что интервью у расшифровщика таинственных письмен хотели взять постоянно. Однажды директрисе Кунсткамеры удалось уговорить его дать интервью одной газете. Для встречи с журналисткой Юрию Валентиновичу было предоставлено солидное помещение — кабинет знаменитого этнографа Дмитрия Алексеевича Ольдерогге. Войдя в кабинет первым, Кнорозов закрыл за собой дверь на ключ.

Журналистка растерянно улыбалась. Снисходительная к издержкам гениальности, директриса легонько постучала в дверь.

Затем сильнее. Юрия Валентиновича попросили открыть дверь и даже слегка пожурили. Попросили хотя бы отозваться, но молчание было им ответом. Когда принесли запасной ключ и отперли дверь, оказалось, что в комнате никого нет. Створка распахнутого окна, как сказали бы романисты прежних лет, обреченно скрипела на ветру. Кабинет Ольдерогге находился в бельэтаже, что, собственно, и определило ход мысли Юрия Валентиновича. Интересно, что вместе с дирекцией в кабинет Ольдерогге вошла милиция. Увидев, как из окна Кунсткамеры выпрыгнул человек, кто-то из прохожих проявил бдительность.

Ни в чем, может быть, сходство Юрия Валентиновича и Лидии Георгиевны не проявлялось так ярко, как в отношении к котам. Влечение, которого нельзя не испытывать к этим замечательным созданиям, усиливалось у них определенными трудностями в общении с людьми. Юрий Валентинович помнил имена всех котов, с которыми ему когда-либо довелось познакомиться. Посещая дома с котами, он не забывал прихватить с собой пузырек валерьянки. Не поощряя в котах чрезмерного пристрастия к выпивке, он тем не менее относился к их слабостям с пониманием. Возможно, это напоминало ему некоторые собственные проблемы.

Коты наполняли всю его жизнь и помогали в выражении как положительных эмоций (в минуту радости он порой мяукал), так и отрицательных: первого президента России — подразумевая, очевидно, превращение страны в поле чудес — он называл Котом Базилио. У самого Юрия Валентиновича была кошка Ася и ее сын Толстый Кыс. Работу о возникновении речи, которую ему помогала писать Ася, исследователь собирался публиковать под двумя именами — своим и Асиным. Для Кнорозова стало настоящим ударом, когда Асино имя при публикации сняли.

Лидия Георгиевна совместных со своими котами трудов не публиковала, хотя оснований для этого имела раз в десять больше. В ее маленькой квартире насчитывалось более двадцати котов и кошек и даже один лис. Это была довольно странная компания. У одних котов не было лап, у других — хвостов и даже ушей. Тетя Лида (не аукнулась ли таким образом память о съеденном в блокаду коте?) подбирала увечных животных на улице, лечила их и оставляла у себя дома. Остальных котов она опекала в естественной среде их обитания. В академической столовой покупала объедки и кормила котов во дворах. В это время ее домашние коты мяукали, царапали всё, что им попадало под лапу, и («хорошо быть кисою, хорошо собакою») оставляли экскременты где попало. Это оборачивалось постоянными скандалами с соседями и угрозами выселения всех беспокойных

жильцов квартиры — включая тетю Лиду. Иногда у нее не отвечал телефон, и можно было подумать, что угроза осуществилась. Позже выяснялось, что коты перегрызли телефонный провод.

Когда в результате инсульта Лидию Георгиевну частично парализовало, коты из квартиры исчезли. Выяснилось также, что на садовом участке в Грузине (она получила его как блокадница) у нее жило еще десятка два собак. Не дождавшись своей хозяйки, собаки разбежались по участкам и терроризировали местных садоводов.

Вынужденно расставшись с млекопитающими, тетя Лида обратилась к птицам. Она стала приманивать в квартиру голубей и мало-помалу их приручила. Что было, пожалуй, не так уж сложно. Навещая в эти дни тетю Лиду, мы с женой чувствовали себя то ли посетителями птичника, то ли свидетелями Золотого века в границах одной питерской квартиры. Из-под наших ног вспархивали голуби. Они вили гнезда на шкафах, сидели на люстрах, и, воркуя, расхаживали по столу. В лице тети Лиды цивилизация без остатка возвращала себя природе. Слой за слоем книжные полки покрывались голубиным пометом. Лишь самые ценные для нее бумаги тетя Лида припрятала от птиц в изголовье кровати, которую по-археологически называла раскопом.

В заоконном ящике для цветов я обнаружил мертвых голубей. Держась за стены, она дотаскивала их до ящика и там аккуратно складывала. Я хотел было вынести их на помойку, но она запретила. Я (улыбка терпеливого) спросил ее, думает ли она, что голуби оживут. Она (спокойствие посвященного) ответила, что это не исключается. Голуби, конечно, не ожили, но и явных признаков разложения в них тоже не наблюдалось. Они как бы высохли.

До чего все-таки глупа юность. Сейчас, годы спустя, я понимаю, чем были для нее эти мертвые птицы. Скорее всего, возвращением к уходу отца, главного мужчины ее жизни. И предчувствием всеобщего воскресения.

Входя в несколько патетический регистр, можно утверждать, что по судьбам Юрия Валентиновича и Лидии Георгиевны колесо истории проехало со всей основательностью. Ужасы блокады и тихий абсурд мирных будней. Сложности в получении заграничных изданий и невозможность покинуть территорию СССР. И если Кавказ еще находился в зоне досягаемости, то с майя дело обстояло куда хуже — что бы ни говорил Юрий Валентинович о «кабинетности» своего труда. Примечательно, что эта присказка не помешала ему в конце жизни посетить Мексику и получить ее высшие награды.

Но ограничивать сходство судеб Лидии Георгиевны и Юрия

Валентиновича пресловутым колесом было бы неверно. В их жизни была заключена какая-то глубинная мучительность, как заключена она в кашле курильщика или плаче ребенка во сне. Этот диссонанс с окружающим миром не зависел по большому счету ни от каких исторических драм. Впрочем, широкие обобщения применительно к чьей-то жизни — дело неблагодарное. Жизнь состоит из тысячи эпизодов, очень разных, часто — противоречивых — и несводима к формуле. Разумнее ограничиться кратким эпилогом.

После инсульта у Лидии Георгиевны был инфаркт, и она умерла в 1992 году. Инсульт оказался роковым и в жизни Юрия Валентиновича. От развившейся после инсульта пневмонии в 1999 году он умер в коридоре одной из петербургских больниц. Внезапное исчезновение, характерное для него при жизни, сопровождало его и в смерти: о том, где именно он умирал, коллеги и родные узнали лишь через несколько дней. Ни на одном из «престижных» городских кладбищ Юрию Валентиновичу, далекому от власти, бизнеса и криминала, места не нашлось. Имея в виду эту посмертную неустроенность, его ученики сравнивают смерть Кнорозова со смертью Паганини. В чем-то это сравнение применимо и к его жизни. Невозможность посещать изучаемую страну заставляла его играть на одной струне.

По ряду причин труд Лидии Георгиевны о происхождении осетин при ее жизни не вышел. После ее смерти директор Кунсткамеры Рудольф Фердинандович Итс обещал мне книгу непременно издать. Вскоре он тоже умер, и публикация не состоялась. Я предпринял еще несколько попыток напечатать книгу Лидии Георгиевны, но все они окончились ничем. «Сейчас такое время, — сказали мне однажды, — что нет средств публиковать даже живых. А вы хлопочете о мертвых». В этом есть своя правда. В сравнении с мертвыми у живых проблем гораздо больше.

Моя бабушка и королева Елизавета

(заметки к юбилею)

О бабушках пишут редко. Если, конечно, это не какая-нибудь выдающаяся бабушка — например, ныне покойная королева-мать. О Елизавете я вспомнил как о бабушке образцовой и, так сказать, общепризнанной. Выражаясь на туркменский лад, бабушке всех англичан. Моя собственная бабушка, Наталия, такой известностью не обладала, она была бабушкой только двух человек — меня и моего двоюродного брата, — но, кажется, именно поэтому заслуживает особого внимания. Она родилась позже Елизаветы (в 1907-м) и умерла раньше нее (в 1989-м), так что даже в отношении долгожительства они находятся не в равных позициях. Стоит ли говорить, что и судьбы их сложились по-разному.

Бабушка появилась на свет в семье школьного учителя. После непродолжительной жизни в Прибалтике семья переехала в Петербург, где отец стал директором гимназии и в его распоряжении оказалась квартира с прислугой на Троицком проспекте. Жизнь директора до октябрьского переворота была на редкость благополучной. Бабушкины воспоминания тех лет: искрящиеся снегом шубки детей, яркий, какой-то даже непетербургский румянец на щеках — словно из цветного кино, сменившегося впоследствии черно-белым. Пересекая время от времени Троицкий проспект, я всякий раз думаю о том, что именно отсюда, отправив семью на Украину, прадед ушел добровольцем в Белую армию. В памяти бабушки — домашний траур по Государю и его семье.

В 1920 году генерал П.Н.Врангель обращается к будущему тестю Елизаветы, Карлу V, с просьбой принять разгромленную Белую армию (ее потом примут другие страны). Карл не отвечает. Англичане увлечены скупкой дешевого зерна, отобранного продразверсткой. Думаю, что даже если бы Карл и ответил тогда белому генералу, у моей бабушки было бы не много шансов встретиться с Елизаветой. Прежде всего потому, что прадед, хоть и не вернулся в Питер, бежать за границу не стал. Он отправился к семье на Украину — туда, где его никто не знал, и продолжил работать учителем в советской школе. Иногда (не вдаваясь в детали) выступал как ветеран Гражданской войны. Во Вторую мировую войну прадед уже не воевал, но — он до нее дожил, что, учитывая его биографию, само по себе было достижением.

Во Вторую мировую войну Елизавета запрещала топить камины в Букингемском дворце, чтобы, чего доброго, не подумали, что ей живется лучше ее подданных. На скорбном фоне А.А.Жданова, объедавшегося в блокадном Ленинграде ананасами, это, конечно, был поступок. Что же касается моей бабушки, то у нее никогда не было ни камина, ни подданных — за исключением разве что ее учеников. В начале войны ей приходилось решать задачи другого рода. С двумя маленькими дочерями она ехала в эвакуацию. И, разумеется, тогда она еще не была бабушкой.

По дороге у нее украли чемоданы, и она привыкла обходиться без вещей. Сметану на южном базаре продавали на пригоршни, и она научилась подавлять в себе брезгливость. Учительскую зарплату ей выдавали школьным цементом (его насыпали в старые наволочки), который было принято продавать на том же базаре. Вот на это у нее не хватило сил: мысль, что с цементной наволочкой ее увидят ученики, казалась ей невыносимой.

Когда бабушка вернулась из эвакуации в Киев, ее комната оказалась занятой соседями по коммуналке. В ожидании освобождения комнаты несколько месяцев она прожила у дальних родственников (никто не умеет унижать так, как дальние родственники). А бабушка всё не впадала в отчаяние — с двумя детьми у нее не было такой возможности. Суммируя бабушкин военный опыт, я бы сказал так: она вполне могла распорядиться не топить камины, но для красивых жестов жизнь предоставляла ей очень мало материала.

Хорошо помню нашу коммуналку. Крысы, сосед-алкоголик, очередь к единственному умывальнику с холодной водой (более подробное мытье осуществлялось в бане). Картинка вроде бы удручающая, но есть ведь и другой ракурс: бабушка в нарядном платье идет преподавать биологию в 44-ю киевскую школу. Номер остался в памяти потому, что соответствовал, если ничего не путаю, ее педагогическому стажу (чтобы закончить с запомнившимися цифрами: ее пенсия впоследствии составляла 58 р. минус рубль, вручавшийся почтальонке). Учительское служение преображало бабушку и поднимало ее над коммунальными буднями. Оно, кстати говоря, производило впечатление и на неученое большинство нашей квартиры — даже на тех, кто когда-то захватывал ее комнату. Бабушкины же ученики посещали нас до самой ее смерти.

Одним из ее учеников был выдающийся поэт Наум Коржавин (бабушка знала его как Эму Манделя). «Вокруг нее всегда создавалась атмосфера доброты и, говоря сегодняшним языком, абсолютной порядочности», — написал мне о бабушке Коржавин.

Один из самых искренних русских поэтов, в том же письме он прибавил: «Я к ней всегда относился хорошо, хотя предмет ее я не любил, и он мне не давался».

Ее жизненную позицию можно было бы определить как *терпение*, если бы это слово не заключало страдальческого оттенка, бабушке не соответствовавшего. Речь идет о каком-то особом слиянии с бытием, об отсутствии, по большому счету, к бытию претензий. Нечто каратаевское, но без литературности. Боязнь патетики, и оттого — легкая ирония. Много лет спустя я узнал этот тип в людях русского Севера, откуда была родом бабушкина мать. Интонации, жесты, а главное — мироощущение — всё это не стерлось и в их киевской жизни.

Бабушка даже курила, как мать, — держа сигарету между большим и указательным пальцами. Пальцами, знавшими всякую работу и от нее загрубевшими, с тусклыми и слоистыми ногтями. На них никогда не было колец — бабушка не любила украшений. Однажды я нашел во дворе золотое колечко с драгоценным, хочется верить, камнем и подарил ей. Я мало чего в своей жизни находил, но тут сосредоточился и нашел — речь все-таки шла о моей любимой бабушке. Надев мой подарок на палец, она вышла во двор и села на скамейку. Никогда ведь не сидела там (не любила дворовых бабок), а здесь зачем-то вышла. Может быть, кольцо показать. Там-то оно и бросилось в глаза владелице и — было ей немедленно вручено. Мне было по-детски жаль бабушку: всё-то от нее уплывало, даже малое ее везение. Уже ребенком я понимал, что кольцо — только частный случай. Бабушку же этот случай не огорчил. Хорошо понимавшая, что всякая находка — это чья-то потеря, она чувствовала явное облегчение.

Старение ее было незаметно — как вообще незаметны изменения в человеке, живущем рядом. Разумеется, кое-что происходило уже не по-прежнему. Менялось, например, соотношение наших шагов: мой шаг увеличивался и ускорялся, бабушкин — наоборот. Я останавливался, ожидая ее, и эти остановки отражали, увы, порой не столько превосходство мое в скорости, сколько раздражение, и она это (естественно) замечала. Уже после ее смерти я нашел ее записки, в которых говорилось, что старость по отношению к молодости должна держать дистанцию. Старики плохо ходят, некрасиво едят, и лучше этого не делать в присутствии молодых. Сейчас, когда старость из отвлеченной идеи мало-помалу превращается для меня в реальную перспективу, я думаю, что бабушка была права. Невыигрышных сопоставлений следует избегать.

Старость охватывала ее всё крепче, а бабушка всё не поддавалась. Старалась сохранять независимость. Независимое

поведение — по крайней мере, явно выраженное — свойство молодости, да бабушка и чувствовала себя молодой. Несоответствие самоощущения ее старческому облику снималось самоиронией. По утрам она говорила, что ей страшно подходить к зеркалу, потому что оттуда на нее смотрит страшная старуха. Такие заявления не требовали ответа, но внутренне я был с ними не согласен: на мой тогдашний, а уж тем более нынешний взгляд, бабушка выглядела вполне благообразно. Что, как известно, не всегда случается в старости.

Постепенность бабушкиного старения осуществлялась не без исключений. Одно из них я хорошо помню — это был ее последний выход в магазин. Бабушка отправилась за покупками, но с полпути вернулась — она просто не смогла дойти. Вернулась гораздо старше, чем выходила.

Последняя моя встреча с бабушкой состоялась в ноябре 1988 года, когда я приезжал в Киев на ее день рождения. Когда гости разошлись, она сказала, что это ее последний день рождения. Спокойно сказала, как бы ставя в известность. Перед моим отъездом в Петербург повторила: «Я скоро умру». Она не болела (по крайней мере, не больше, чем обычно), но я знал, что сказанное ею — правда. Кокетство ей было несвойственно, да и слова ее с делом обычно не расходились. Бабушка молчала, и я понял, что она ждет моего ответа. Подавив ком в горле, я сказал, что все умрут. Что я тоже умру. Мне казалось, что напоминание о всеобщем равенстве перед смертью могло бы стать лучшим словом утешения. Это было не так. Бабушка грустно посмотрела на меня и сказала: «Но ведь я умру раньше».

Она умерла через два месяца. Я лежал тогда после операции в одной из петербургских больниц. В день бабушкиной смерти я ушел оттуда, потому что отчетливо понял, что ее больше нет. Оказалось, что в это время мне уже была дана телеграмма о ее смерти. Я вылетел в Киев. Как и бабушка, я стесняюсь проявлений сентиментальности, но помню, как из окна самолета внимательно всматривался в облака. Мне казалось, что, если у меня есть шанс увидеть ее еще раз, то произойдет это именно там.

В том, что происходит на свете, часто просматривается режиссура, которую при невнимательном взгляде на вещи можно посчитать случайным стечением обстоятельств. Годы спустя в один из приездов в Киев я оказался на месте своего бывшего дома. Расчищенная площадка еще дышала недавним жильем, и мне казалось, что за забором только что скрылся последний самосвал, увезший обломки того, что было моим домом. Я поразился тому, что последний акт его драмы завершился в моем присутствии.

Справляясь с возникшим зиянием, я искал свидетельств существования моего дома и — не находил. На площадку выходил черный ход соседнего ресторана. За моими действиями следили два перекуривавших официанта. Поинтересовавшись у меня, что, собственно, происходит, они активно присоединились к поискам. Не прошло и минуты, как один из них поднял с земли старинную кованую скобу. Второй сбегал за пакетом, и скоба была мне вручена. Держа этот предмет в руках, я повернулся к площадке спиной и смотрел на пирамидальные тополя перед бывшим домом. Они стояли так, словно с ним ничего не произошло. Я попытался вести себя так же. Представил себе, что за спиной — наши окна, что в одном из них — бабушка, что она меня зовет. И я услышал ее голос.

Много лет занимаясь древнерусской литературой, я ловлю себя на том, что в каких-то областях и сам ощущаю влияние исследуемого материала. Например, в истории. Средневековые историки — люди совершенно особого склада. В свои сочинения они помещали вещи, которые современный историк, пожалуй бы, не заметил. Он просто не счел бы их историческими событиями. В Хронике Георгия Монаха есть повествование о том, как разбойник убил путника, а собака убитого впоследствии указала людям убийцу. Этот рассказ занимает две трети главы о византийском императоре Льве IV. Почему? Потому что это аисторическое, по сути, повествование имеет в глазах Георгия нравственное содержание: оно говорит о неизбежном торжестве справедливости. С высокой — самой, может быть, высокой — точки зрения описанное событие значит не меньше, чем все деяния императора. В конце концов, важен лишь ответ на Страшном Суде, а всё остальное — подробности.

На этой историософской ноте возвращаюсь к бабушке и, конечно же, к королеве. К двум современницам и, вне всякого сомнения, историческим лицам. Они совместно творили историю, хотя и представляли разные ее фланги. У каждой была своя сфера ответственности, и каждая со своей сферой, нужно думать, справлялась. В бабушкину сферу, помимо ее дочерей, в разное время входили также мой двоюродный брат и я. Не хочется хвастаться, но, в отличие от Елизаветы, бабушка своими внуками осталась в целом довольна.

В перспективе вечности, вероятно, не так уже и важно, кто из них был королевой, ибо неизвестно, по слову Н.С.Лескова, «кто из нас в каком расчислении у Господа». Я гляжу на их фотографии и улавливаю сходство. Есть у стариков какое-то общее выражение — доброты и как бы уже нездешности. Возможно, это выражение и отражает то главное, что им случилось обрести в жизни. Я

думаю, история не самоценна, у нее нет и не может быть никакой общественной цели. Ее цель глубоко персональна и состоит в том, чтобы дать нам выразиться. Роль истории в определенном смысле сравнима с ролью рамы. А портрет создаем мы сами.

Протоиерей Александр Нечаев

Об Александре Дмитриевиче Нечаеве, брате моей прабабушки Нины Дмитриевны, я впервые узнал из воспоминаний, хранившихся в нашей семье. Он родился 28 июня 1877 года в городе Вельске Архангельской губернии (так следует из материалов, предоставленных прокуратурой. По воспоминаниям домашних, место рождения — Тотьма, где до начала XX века жила вся семья). Точно сейчас известно лишь, что в 1897 году он закончил Вологодскую духовную семинарию, куда поступил по указанию отца. Впоследствии был определен в кафедральный собор Архангельска, где служил до самого октябрьского переворота.

По рассказам домашних, черты пастыря в нем удачно соединялись с чертами провинциального интеллигента — типа, для дореволюционной России очень важного. Человеком он был начитанным, остроумным и, судя по всему (после воскресных служб многие приходили к нему в дом обедать), принадлежал к тем людям, с которыми хочется общаться.

Несемейные свидетельства об отце Александре обнаруживаются в Архангельских епархиальных ведомостях за 1917 год (№ 2–7), где в хронике церковной жизни упоминается, что в 1916 году он несколько раз сослужил Архангельскому владыке Нафанаилу и произнес после службы проповедь. Кроме того, в числе тех, кому «преподается архипастырское его преосвященства благословение за их деятельное участие в различных учреждениях и организациях, вызванных по обстоятельствам военного времени», упоминается «кафедрального собора священник Александр Нечаев», состоявший «безмездно заведующим Архангельским епархиальным лазаретом и членом Архангельского епархиального благотворительного комитета».

Начиная с марта 1917 года упоминания об отце Александре вплотную связаны с событиями этого неспокойного времени. В Архангельске создается Союз духовенства (впоследствии — Союз духовенства и мирян), возглавленный протоиереем И.Поповым. Секретарем и членом исполнительного совета Союза был избран о. Александр, на квартиру которого в Со борном доме и предлагалось обращаться по всем вопросам. Им ведется журнал собраний Союза, публикуемый в Архангельских епархиальных ведомостях, им же, как следует полагать, формулируются все основные документы созданного Союза.

Попытки русского духовенства найти свое место в новой

действительности можно оценивать по-разному. Действия Церкви нередко становились откликом на происходившие события, ее воззвания были в значительной степени публицистичны. Разумеется, их непосредственным поводом оказывались внешние (т. е. нецерковные в собственном смысле слова) обстоятельства. Вместе с тем это было и проявлением искреннего стремления к реформе изнутри, желания вдохнуть жизнь в то, что для многих превращалось в чистый ритуал. Если помнить о внутренней логике развития Церкви в это время, действия и воззвания духовенства не будут казаться такими уж наивными.

Так, скажем, к епископу предлагалось относиться «с сыновним почтением, откровенностью и доверием, без традиционной, присущей духовенству боязни и рабского страха за свое положение». Высказывалось желание преобразовать епархиальное издание из «безжизненного, формального и сухого, никому не интересного» в газету «живую, отзывчивую, содержательную». Тем не менее и в 1917 году в Архангельской епархии хорошо помнили об основном предназначении Церкви, что выразилось в категорическом требовании Союза «ни под каким видом из церковной кафедры не делать политики».

В восьмом номере Ведомостей от 15 апреля 1917 года появляется «Воззвание к епархиальному духовенству и ко всем трудящимся на ниве Божией». Новая общественная ситуация, возникшая после февральских событий, в воззвании расценивалась как шанс для преодоления отчуждения от народа и нравственного возрождения. «Высокие христианские начала жизни, — отмечалось в публикации, — требуют свободы гражданской и политической, простора для проявления богоподобных свойств человеческого духа. <…> Мы признаем, что народу самому принадлежит право свободно избрать ту или иную форму политического строя». Наряду с этим воззвание содержало призыв защищать страну от внешних врагов в продолжавшейся войне. Целями Союза провозглашалось обсуждение вопросов «о распространении евангельских начал на всю народную жизнь, об усилении нравственного авторитета духовенства, объединении верующего народа в живые приходские учреждения и организации для успешной борьбы со злом, безбожием».

Главным политическим событием 1917 года, на которое русским обществом возлагались большие надежды, было образование Учредительного собрания. Это была первая в истории России попытка общественного договора. На Учредительном собрании должна была решиться судьба страны: вряд ли какое-либо собрание имело более серьезную повестку

дня. Ждала этого события и Церковь. Но случилось то, что случилось. Большевики, у которых не было шансов прийти к власти легальным путем, совершили переворот. Большая кровь только начиналась.

В январе и мае 1918 года Патриарх Тихон обращается к стране с призывами создавать союзы духовенства и мирян для противостояния безбожной власти. Меняется характер деятельности Архангельского союза, который к июлю 1918 года охватывает уже все приходы епархии, меняется и характер воззваний: «Но где же тогда сила организованного церковного мнения? Где духовенство в единении с мирянами? Мы прекрасно знаем, что не вправе ждать чуда. Ведь мы не предпринимаем даже того, что в наших руках».

От мировоззренческих споров Союз переходит к выработке конкретных мер по защите церковной жизни. Так, на февральских собраниях, происходивших в Архангельском кафедральном соборе, был принят ряд постановлений. Антирелигиозные «декреты» в постановлениях рассматривались как не имеющие силы и выражающие «взгляды ничтожного меньшинства». Призывая оборонять церковное имущество, постановления упоминали и об инославных церквях: «…не позволять никакого оскорбления со стороны гонителей веры в отношении христианских храмов и богослужебных мест иноверцев, причем оказать в случае нужды гонимым и ограбленным религиозным общинам всякую поддержку и помощь». «В случае насилия должно поднять тревогу набатным звоном, причем этот звон, пока соберется верующий народ, производить во всех храмах и продолжать до удаления захватчиков только в храме, на который сделано нападение». Для поднятия духа людей Союз готовил крестный ход и всенародное моление, в которых предусматривалось участие не только православных, но и всех инославных христиан Архангельска.

Понятно, что деятельность Союза духовенства и мирян не могла продолжаться долго. Уже в 1920 году Архангельская губЧК проводит в отношении Союза следствие, по которому проходил и о. Александр, этапированный в ходе следствия в Бутырскую тюрьму. Тогдашнее следственное дело найти не удалось, и о событиях 1920 года узнаем из упоминаний о них в делах 1930 и 1937 годов.

О жизни о. Александра в двадцатые годы известно мало. После разрушения кафедрального собора большевиками он служит священником в Воскресенской церкви. Возможно, к этому же периоду относятся и его семейные несчастья: к профессору-гидробиологу С.В.Аверинцеву, приезжавшему в Архангельск в

экспедицию, от него уходит жена. Двоих детей она увозит с собой в Москву, двое остаются в Архангельске с о. Александром. Жизнь его в эти годы тяжела. Описывая свое существование в одном из писем к моей бабушке, он писал: «Хожу, как прасол». Это забытое ныне словечко (прасол — скупщик рыбы и мяса для засолки) говорит об общем — включая бытовое — неблагополучии, сопровождающем нищету.

16 августа 1930 года о. Александр снова арестован. Мне удалось ознакомиться со следственным делом № 2100 (арх. № П-5356), начатым 17 августа и оконченным 23 сентября 1930 года. В постановлении о принятии дела к производству указывалось, что арестованный «систематически произносил проповеди антисоветского характера, говоря о якобы имеющемся в СССР гонении на религию, о разложении коммунистическим учением народа и т. д.». При этом содержание под стражей объяснялось тем, что «Нечаев, находясь на свободе, может скрыть следы совершенного им преступления».

Как следует из дела, допросы вел старший уполномоченный секретного отдела ПП ОГПУ Северного края Вышлецов. Наиболее удобные для обвинения моменты в свидетельских показаниях Вышлецов (как и последующие следователи) подчеркивал красным карандашом. Так, в показаниях свидетеля К. подчеркнуты слова из проповеди о. Александра от 30 марта: «Христос пострадал за нас, так и мы должны пострадать, перенести все эти невзгоды. Настанет и для нас хорошее время, а что творится сейчас, один Бог весть». В показаниях ссыльного С. подчеркнуты слова из проповеди от 2 августа 1930 года: «Бог есть, и те издевательства, которые сейчас проводятся над Ним: агитация, демонстрации, ссылки духовенства и т. д. — не пройдут бесследно: рано или поздно Он расправится своим страшным судом над нашей несчастной землей». Именно эта проповедь на Ильин день и легла в основу обвинения. Как указал на допросе С., «я еще тогда говорил в церкви: “За такую проповедь отцу Александру не поздоровится”». По словам свидетеля У., на этой проповеди о. Александр Нечаев говорил и следующее: «Нарастающее сейчас безбожие в народе — явление временное. Во времена существования Ильи Пророка тоже было много безбожников, но Бог помог с ними справиться Церкви. И теперь нас Бог не оставит в борьбе с ними».

Наконец, в этом же деле есть изложение проповеди самим о. Александром. Рассуждения о непобедимой вере и трудности служения ветхозаветного пророка, запротоколированные безграмотным энкавэдэшником, производят сильное впечатление. Всякое трудное время обнажает противоположности, лишает

полутонов и оставляет, по сути, лишь две краски. Это нелегкое испытание — не имея «среднего» пути, осуществлять свой выбор действенно и до конца, становясь либо праведником, либо кем-то совершенно противоположным — гестаповцем, чекистом и т. п.

По воспоминаниям дочери о. Александра Р.А.Фонвизиной, в ходе следствия его уговаривали отречься от сана, но он отказался. Несмотря на то, что, как следует из дела, о. Александр виновным себя не признал, внесудебная тройка ОГПУ вынесла решение «заключить в концлагерь сроком на три года, считая срок с 17/VIII — 30 года, направить для отбытия заключения в Сыктывкар». В 1932 году, очевидно находясь еще в заключении, о. Александр привлекается к ответственности по новому делу и освобождается лишь 21 декабря 1935 года.

Последний его арест состоялся 28 июля 1937 года. В следственном деле № 17535 (арх. № П-3533) он назван «неофициальным служителем священного культа» с указанием того, что в одном из сел служил обедню, «не имея разрешения».

Эти документы невозможно пересказать. Сила их воздействия заключается как раз в том, как они написаны. В графе «должность» сказано: «учавствует (так!) в хоре кладбищенской церкви гор. Архангельска». В графе «применение в хозяйстве наемной рабочей силы» отмечено, что до революции им нанимались кухарка и няня. Вот один из вопросов, заданный капитаном НКВД Бабушкиным ведущему нищенское существование о. Александру: «Известно, что вы получаемые средства от родных и прихожан использовали на проведение контрреволюционной агитации. Дайте правдивые показания по существу». Ответ: «Получаемых средств хватало только на прожиточный минимум». Капитан Бабушкин, явно не оправдывавший свою мирную фамилию, вел себя агрессивно, и это составляло контраст даже со следствием 1930 года.

Говоря о полярных качествах, проявлявшихся людьми в это трагическое время, небезынтересно обратиться к показаниям, послужившим основой для обвинения. Они были получены от некоего Максима Ивановича Залесского, работавшего «в колбасной мастерской». В отличие от других свидетелей, говоривших с явной неохотой и под большим давлением, М.И.Залесский делился информацией, что называется, от души. «Нечаев А.Д., — сообщал Залесский капитану Бабушкину, — имеет близкие связи с контрреволюционными лицами, как то: священник Корнев Иероним, М.А.Щеколдин — бывший ссыльный, священник, Турандаевский — священник, бывший лесопромышленник В.М.Рындин. Все указанные проживают в Архангельске и, встречаясь друг с другом, ведут

контрреволюционную агитацию, которую организует Нечаев А.Д.» «В марте сего года, — продолжал Залесский, — Нечаев А.Д. и Щеколдин М.А. неоднократно выражали свое недовольство жизнью, а также высказывали открыто контрреволюционное измышление о жизни в нашей стране: “Никогда не жили так, как сейчас. Весь народ проклинает свою жизнь”». «Газетным сообщениям никогда не верит, — говорил Залесский об о. Александре, — и очень часто иронически относится к печатаемому материалу, открыто говорил, что в газете пишут неправду». «В июле месяце, у себя на квартире встретясь с Щеколдиным, стали обсуждать “Положение о выборах в Верховный Совет”, где говорили: “Мы поберегем (так!) свой голос до лучших времен. Надо подождать, когда народ нажмет на своих «правителей» и потребует у них отчета во всех делах”. Нечаев А.Д., разговаривая с Щеколдиным, сказал: “На бумаге дали нам право голоса, а попробуй что-либо с этим голосом сделать. Голос дали, как попугаю, голосуй, за кого прикажут. Я на выборы не пойду и голосовать за «товарищей» не буду”».

11 октября 1937 года заседание тройки НКВД приговорило о. Александра к десятилетнему заключению в концлагере. Как следует из лагерного дела № 26340, с которым мне удалось ознакомиться, в заключении он стал инвалидом. В лагере провел ровно половину срока: 2 ноября 1942 года его не стало. В датированном этим числом акте сказано, что Нечаев А.Д. «сего числа умер. Смерть последовала от паралича сердца на почве старческой дряхлости. При наружном осмотре трупа оказалось: рост средний, цвет волос седой, цвет глаз синий, нос прямой. Особые приметы: нет». 9 ноября датируется акт о погребении: «сего числа погребен труп умершего з/к Нечаева А.Д… Труп погребен в могиле № 41 на Новом кладбище № 8 на запад от Пермской командировки». Платоновский язык этих актов содержал вместе с тем фразу, звучавшую почти по-житийному: «при умершем з/к собственных вещей не оказалось». Р.А.Фонвизина вспоминала, что получила тогда письмо от заключенных в лагере священников. Они писали, что о. Александр жил и умер достойно. Он был ими отпет.

День рождения Коли

Иногда запоминаются рядовые, на первый взгляд, события. В моей памяти остался День рождения Николая Николаевича Косицкого — Коли, отмечавшийся в 1980 году. Поздравляя Колю с некруглой датой, мой кузен Петр заметил, что о 27-ми можно сказать лишь то, что это — три в кубе. Завершая тост спустя годы, необходимо добавить: это была ровно половина времени, отмеренного Коле для земного пути. Но эта математика была нам тогда еще неизвестна. В глубоком смысле слова она была высшей математикой.

Есть люди, которым дано ассоциироваться с бытием. Как бытие, они сопровождают нас с незапамятных времен — просто потому, что времени *до них* мы не помним. Мы можем не видеться годами, но это не отменяет их присутствия в нашей жизни, подобно тому как не уходит из нашей жизни море, даже если мы перестали к нему ездить. Потому и потеря таких людей так же труднопостижима, как потеря моря, леса, травы. Таким человеком был для меня Коля.

«Черт побери, где же Косицкий?!» Это было, безусловно, первым из того, что я четырех— или пятилетним о Коле услышал. Эту фразу повторял Петя, стоя у окна нашей квартиры на бульваре Шевченко. Не могу передать, до чего же эта фраза мне нравилась. Я тоже повторял ее, изображая Петю. Меня завораживал ее звуковой облик, удивительное такое «побери», сохранившееся, как муха в янтаре, в одной лишь этой идиоме.

Это напряженное ожидание Косицкого передалось мне в такой степени, что, в отличие от многих, окружавших меня в детстве, Коля остался в моей памяти. Пусть без особых деталей, пусть слегка смазанно, я тем не менее вполне достоверно помню невысокого смуглого подростка. Смуглого отрока, как сказала бы Ахматова. Неожиданная эта ассоциация кажется мне в высшей степени уместной. В Коле и в самом деле было что-то пушкинское, прежде всего — свет.

Коля был ниже Пети, и когда классе в 9–10-м он стал стремительно расти, я испытал что-то вроде ревности. В те годы мне представлялось, что он (дети крайне эгоистичны) не должен быть выше моего кузена. Забегая вперед, замечу, что стремительный рост стал одним из важнейших Колиных атрибутов. И когда Коля физический расти все-таки перестал, Коля духовный только набирал скорость.

Сравнивая Колю с бытием, я, разумеется, не имею в виду их тождества. Мое сравнение не является ни похвалой, ни

риторическим приемом, которые в таком контексте выглядели бы чем-то поверхностным. Я говорю о том образе, который Коля рождал во мне. Что-то подобное я мог бы сказать о моей бабушке. Речь идет об особом отношении к жизни. Отношении к ней как к должному, без попыток, что ли, ее оспорить. Это отношение я назвал бы непротивопоставленностью жизни. Люди, подобные Коле, не находятся с действительностью в конфликте, потому что не занимаются ее исправлением. Они лишь восполняют в ней недостающее. И если принять во внимание, что за исправителями жизни в свою очередь очень многое приходится исправлять, нетрудно прийти к мысли, что миссия восполнения — самая благодарная.

Я помню, как однажды Коля вызвался поехать вместо Пети по какому-то рутинному (жилконтора? паспортный стол?), но в наших условиях изматывающему делу. Это было неожиданно для всех — включая, по-моему, и Петю. Позже Коля мне сказал: «Ему нужно было помочь. Мне кажется, он на пределе». Он помогал в крупном и в мелком, и эти «мелкие» случаи мне по-особенному дороги. Крупные вещи требуют концентрации духовных сил и чаще всего достигаются усилием воли. Самоотверженность имеет свою красоту и, если угодно, престиж. В вещах мелких ничего такого нет. Они вызываются единственно душевным расположением. Невозможностью не помогать. Я мог бы привести многочисленные примеры Колиной помощи разным людям, но это внесло бы в воспоминания о нем ту патетику, которой он, собственно, избегал. И все-таки еще одну из таких «мелочей» я вспомню.

Лет тридцать (невероятно) назад в новогодний вечер мы собрались у Пети. Это были замечательные и радостные праздники, которые видятся теперь словно из инобытия. Несмотря на то что отмечание было в самом разгаре (а может быть, как раз поэтому), я решил ехать домой, где Новый год праздновали мои бабушка и мама. Мне было тогда по-настоящему хорошо и очень не хотелось уходить. Думаю, что охватившая меня волна счастья и была тем, что окончательно подтолкнуло меня к уходу. На фоне моей тогдашней радости унылое (как мне казалось) сидение бабушки с мамой было особенно удручающим. Коля вызвался проводить меня до метро. Догадывался ли он о причинах моего ухода, беспокоился ли о безопасности ночного путешествия, но — он пошел тогда со мной. Думаю, что Коля всё понимал, и это было проявлением солидарности. До метро идти было около получаса. Обратно, соответственно, столько же. Шагая рядом с Колей, я думал о том, что покинуть такую теплую компанию было с его стороны настоящей жертвой. Маленькой, но

настоящей.

Сложилось так, что в день Колиной смерти я был в Киеве. Уезжая от Пети, я оказался на платформе той самой станции, где много лет назад Коля посадил меня на электричку. В день его смерти, как в ту новогоднюю ночь, шел снег — несмотря на то, что был еще ноябрь.

Созвучие бытию, о котором я пытаюсь сказать, дается немногим людям. В каждом из них, словно в капле, бытие находит всестороннее свое отражение. Помимо такого призматического свойства (ввиду Колиной специальности физические образы выскакивают сами собой) эти люди обладают еще одной чертой, роднящей их с бытием: равновесием. Сохранять равновесие способен тот, кто не переходит на полюса. Здесь мы опять-таки имеем дело со способностью вместить в себя мир в целом.

Чтобы пояснить, что я имею в виду, расскажу забавную, на первый взгляд, историю. Один наш общий знакомый в моем присутствии упрекнул Колю в том, что по какому-то вопросу Коля недавно высказывался якобы прямо противоположным образом. Защищая Колю, я пошутил тогда, что каждый вопрос имеет, в конце концов, свои «за» и «против». (С годами я всё более убеждался, что моя тогдашняя шутка была не такой уж шуткой: на свете очень мало утверждений, которые полностью соответствуют истине или — наоборот — полностью ей не соответствуют. В этом смысле держать в уме оба полюса — совсем не лишнее.) Совершенно не помню, о чем именно они тогда говорили. Знаю одно: если раньше Коля и высказывался «за», то в тот день пришло, стало быть, время высказаться «против». В Коле я никогда не сомневался.

Рассказал же я это вот к чему. Были вещи, имевшие для него абсолютную ценность. В этих случаях его мнение было твердым и определенным раз и навсегда. Вместе с тем существовала у него и сфера малозначительного, в которой — и здесь я вижу свойственную ему сердечность — он был готов сказать то, что хотел бы услышать собеседник. Так что, возражая тогдашнему Колиному оппоненту, я мог бы предположить, что своего прежнего мнения Коля попросту не держал в памяти.

Есть люди, которые во всех случаях рефлекторно говорят «нет». Коля же — если только не было непреодолимых обстоятельств — всегда был рад сказать «да». И ведь за этим стояло не просто стремление сделать приятное собеседнику (что само по себе достойно уважения). Так проявлялось свойственное Коле стремление к гармонии, которая, как известно, противостоит хаосу. Он замечательно отличал правое от

неправого, но его правота не была давящей. Есть люди, чья постоянная и несомненная правота делает жизнь окружающих невыносимой. Это правота без любви. Колина правота была человеколюбива. Это была правота человека, видящего мир во всей его сложности и разнообразии.

Панорамное Колино зрение проявлялось в самых разных вещах. Так, его любовь к украинской культуре не имела ничего общего с изоляционизмом и уж тем более — с отрицанием других культур (самый дешевый и малопочтенный вид самоутверждения). Мне кажется, помимо благородства, присущего ему самому, здесь играло роль то, что можно назвать принадлежностью к традиции, в какой-то степени — национальным качеством. Имею в виду «вселенскую» линию украинской духовной и культурной жизни, удивительное умение соединять полюса. Высшей точкой этой линии был, конечно же, Гоголь, рассуждавший в категориях православной ойкумены. В русле именно этого мировосприятия пронзительная любовь к Украине без зазоров соединялась в Гоголе с идеей общерусского мира.

Что же касается украинского начала Коли — ненавязчивого, глаз не мозолящего, — то в моей памяти оно, как ни странно, прежде всего связано с песнями. Говорю «как ни странно», потому что я (не исключаю, что и другие) никогда не слышал, чтобы Коля пел. Песни, о которых идет речь, звучали с пластинки трио Маренич, которую мы бессчетное число раз прокручивали в Колиной комнате на Рейтарской. Я, для которого народные хоры были в буквальном смысле пустым звуком, песнями Мареничей был сражен наповал. Выяснилось, что народные песни имеют удивительно красивые слова. Эти слова были абсолютно неразличимы в реве, издававшемся по утрам бесформенным, пятидесятых годов, радио в нашей квартире. Эти слова я помню до сих пор — так тщательно мы с Колей их тогда слушали.

Важнейшей украинской сферой Коли была, мне кажется, его семья. Однажды, глядя на маленьких Колю и Марию (дело, по-моему, было в Вишневом), Коля сказал мне: «Діти — то така втіха». Мы никогда не говорили по-украински, и я подумал, что это — единственный язык, мыслимый им для домашних. А потому, наверное, главный. Но запомнилась фраза не из-за этого. Мужчины редко умеют говорить о детях убедительно. Колина фраза была воплощением отцовства.

Ловлю себя на мысли, что от Коли в моей памяти осталось не так уж много фраз. Потому, может быть, что он и не был человеком фразы — во всех смыслах. Со-звучие, со-положенность бытию не предполагает сводимости человека к отдельным

высказываниям, к *bon mot*, и оттого цитирование — по крайней мере в Колином случае — кажется мне сужением. Вспоминая Колю, мне хочется просто пересказывать жизнь, как бесконечный добрый фильм: он был в каждом его кадре.

Конец семидесятых. Укажу с точностью до месяца: июнь 1978-го, футбольный чемпионат в Аргентине. Мы с Колей ремонтируем квартиру моей тети на Русановской набережной. Почему мы ее ремонтируем, точнее — почему ее ремонтируем именно мы, — спрашивать бесполезно. Память пробуксовывает. Между тем вопрос непраздный: ни я, ни, подозреваю, Коля до этого не ремонтировали в своей жизни ничего. Открыв, чтобы не было жарко, окна, мы старательно клеим обои. Разводим клейстер (он весь в комках) и допотопной, теряющей волоски щеткой наносим его на обойные листы. Коля тоном бывалого призывает выгонять из-под приклеенных обоев пузырьки воздуха. Мы делаем это при помощи тряпок. Мощные движения от центральной оси обоев к их краям. Чуть вниз. Напоминает рисование елки. Коля обращает мое внимание на то, что главное в обойном деле — тщательная оклейка углов стен. Если где и следует прижать обои по-настоящему, то именно в углах, потому что именно там клейщика обоев и может подстерегать опасность. Обои в углах мы прижимаем самозабвенно. Бумага рвется.

К вечеру мы заканчиваем с оклейкой гостиной и спускаемся на улицу купить бочкового кваса. Бочка закрыта. Коля говорит, что у него есть идея. Мы заходим в гастроном и покупаем несколько пачек концентрата кваса. Вернувшись домой, включаем трансляцию из Аргентины. С первым ударом по мячу в комнате раздается треск. Коля высказывает догадку, что так, должно быть, свойственно сохнуть обоям. Через некоторое время первый обойный лист отделяется от стены и бессильно сворачивается на полу.

Массовый падеж обоев — и в этом Коля оказался прав — начинается именно с углов. Каким-то образом выясняется, что злейший враг сырых обоев — сквозняки, а у нас были открыты все окна. Мы не унываем и решаем выпить квасу. Увы. Концентрат кваса в воде не растворяется. Точнее, он растворяется, но не до конца. Получается безвкусная мутная жижа с осевшими на дне крупинками. В этот момент Коле приходит в голову замечательная мысль: есть концентрат сухим. Удивительным образом вкус, уходивший при разведении концентрата, в сухом виде присутствовал в полной мере. Его можно было есть и запивать водой. На Русановской набережной мы прожили примерно неделю и почти каждый вечер ели этот концентрат — брикет за брикетом.

Каждый вечер по телевизору шел футбол, а за окнами (мы уже не боялись их открывать) качались пирамидальные тополя. С Днепра доносились звуки моторных лодок. Темнота наступала поздно. Но даже когда становилось темно, какое-то время еще светился крутой правый берег, за который закатывалось солнце. Мне казалось, что с ночными бабочками в окна влетало чувство беспредельного счастья. Оно возникало от запаха реки, от осознания того, что впереди — целая жизнь, и, как думаю теперь, от отсутствия всякого представления о смерти.

Вильнюс, год 82-й или 83-й. Я, Коля и наш друг Володя Грубман. От самого Вильнюса память не удержала почти ничего, да и эти крохи, боюсь, отражают провинциальные немецкие городки, наслоившиеся впоследствии в моем сознании один на другой. Главной достопримечательностью города был, как представляется, пивзавод, с которым Володе каким-то образом удалось наладить связь. Мы пришли туда в выходной день перед самым нашим отъездом. Дальнейшее приняло характер сюрреалистический. Какой-то человек принес два ведра пива — темного и светлого. Мы чистили рыбу на газетную передовицу. Полуприсыпанное серебристой чешуей, читалось (правда чудеснее вымысла) ее заглавие: «И никаких себе поблажек». Поблажек, разумеется, не было, но допить пиво мы так и не смогли. Неизвестный так же безмолвно забрал ведра и вылил оставшееся пиво в туалет. Грозное зрелище сделало безмолвными и нас.

Выйдя с пивзавода, мы направились в аэропорт. Нашей проблемой было то, что на троих у нас почему-то оказалось только два билета. Мы попытались было купить третий, но нам сказали, что лишние билеты могут появиться только после окончания общей регистрации. Ожидать окончания регистрации мы направились в ресторан. Когда регистрация, по нашим представлениям, должна была окончиться, мы снова пришли к кассе и действительно купили недостающий билет. При посадке, однако, выяснилось, что купленный билет оказался одним из тех, которые были у нас. Мы купили его сами у себя: те два — такой уж это был день — оказались аннулированы, потому что мы не догадались пройти регистрацию.

Вспоминаю это время со слезами благодарности — за нашу радость, за смешные приключения, которые сейчас мне кажутся едва ли не вымыслом, но они — были, и существование их подтверждает, что Господь не создавал мир черно-белым. Не с этой ли радостной частью бытия прощался Коля, когда в поездке на Святую землю он — перед самой своей смертью — встретился и с Володей, давно живущим в Иерусалиме?

Я сказал, что Коле не было свойственно произносить сентенции, но одно его высказывание запомнил хорошо. Оно было о том, что в трудные минуты человек остается наедине с Богом. Не сомневаюсь, что подобные слова произносили и до Коли, но в моем сознании они закрепились с Колиной интонацией. Я вспоминал их в дни, когда в больнице (как я понимаю, не лучшей), оплетенный проводами и трубками, Коля ждал решения своей участи. Собственно, уровень больницы тогда уже и не имел значения — в сравнении с высотой Того, Кем принималось решение и с Кем Коля уже был наедине.

Мне кажется, для всякого религиозного человека очевидна неслучайность и значительность последних дней Коли. Перед самой смертью ему было дано увидеть важнейшее в человеческой истории место, и в этом мне видится особая Колина отмеченность. Но ему была явлена и другая милость: со Святой земли он успел вернуться на родную землю и умер именно там. Эти строки я пишу за несколько дней до Колиного Дня рождения. Первого после 17 ноября — Дня его рождения для вечности.

Инструмент языка

Недавно умер мой немецкий друг Ханс-Петер Рекер. Несмотря на нашу многолетнюю дружбу, фамилию Ханса-Петера я узнал только из сообщения о его смерти, присланного мне из Мюнхена. Для меня он всегда был Хансом-Петером, и другое обозначение этого человека выглядело бы странно. Принц Чарльз. Далида. Ханс-Петер. Есть случаи, когда выяснение фамилии неуместно.

Я познакомился с ним почти два десятилетия назад, когда впервые попал в Германию. Будучи прикомандирован к Мюнхенскому университету, я с семьей поселился в богословском коллегиуме (в конце концов, предмет моих занятий — древнерусская литература — в определенном смысле и является богословием). Показывая коллегиум, его руководитель вывел нас во двор. По двору ездил маленький кабриолет, в котором человек лет тридцати нажимал на педали. Точнее, крутил педали, потому что автомобиль приводился в движение цепной тягой.

— Это Ханс-Петер, — сказал руководитель.

Потом он показал нам территорию, на которой располагалось шесть домов. Три из них принадлежали коллегиуму, а три — лечебно-педагогическому центру Ордена августинцев. Ханс-Петер жил в лечебно-педагогическом центре.

Несколько раз в день обитателей этого центра провозили по общему двору (питание, процедуры, прогулки). На тех, кто попадал в коллегиум впервые, вид этих людей производил удручающее впечатление. Между тем с пациентами лечебно-педагоги ческого центра богословы не только общались, но и устраивали совместные праздники. Что же касается Ханса-Петера, то, в отличие от большинства пациентов центра, он обладал вполне нормальной, в хорошем смысле даже заурядной внешностью. У тех, кто интересуется футболом, есть счастливая возможность эту внешность представить: удивительным образом Ханс-Петер был похож на знаменитого вратаря Оливера Канна.

Как и Оливера, Ханса-Петера прославила не внешность. В том ограниченном кругу, где он был известен, из общего ряда пациентов центра и богословов коллегиума Ханса-Петера выделяли его тексты. Он произносил их легко и со вкусом. Я бы сказал — не задумываясь, если бы это определение не намекало на диагноз самого Ханса-Петера. Это были крылатые фразы, новостные штампы, высказывания его наставников из спецшколы, фрагменты каких-то ток-шоу и диалоги из телесериалов.

Познакомившись с нами, Ханс-Петер сказал:

— Знаете, за дружбой нужно ухаживать.

Подумав, он добавил:

— Сейчас я иду к одной женщине, чтобы, так сказать, реабилитироваться.

Высказывание Ханса-Петера о дружбе впоследствии стало ключевым для наших друзей и нас самих. В поисках аргументов для дружеской встречи (с возрастом они, увы, всё нужнее) вслед за Хансом-Петером мы говорим друг другу: *“Freundschaft muss man pflegen”*.

В коллегиуме, где мы замечательно прожили несколько лет, проводились встречи с известными учеными. Обращаясь к ним, Ханс-Петер вполне академично называл их коллегами. Возможно, он не был посвящен во все тонкости изысканной немецкой теологии, но участие его в обсуждении докладов было живейшим. Обычно он задавал вопросы. Чем более высокого уровня абстракции достигала мысль докладчика, тем более насущный и практический характер приобретали вопросы Ханса-Петера. В определенном смысле эти вопросы были полезны: они служили здоровым противовесом сказанному в докладе.

Однажды после филигранного анализа тонкостей Аугсбургской декларации католиков и лютеран Ханс-Петер спросил у докладчицы:

— Скажите, а почему Христа распяли, и главное — почему Он воскрес?

Докладчица скрутила свои бумаги в трубочку и после небольшой паузы сказала:

— Собственно, это — основной вопрос.

По существу она на всякий случай решила не отвечать.

После другого не менее блестящего доклада Ханс— Петер первым поднял руку. Оглядев богословское сообщество, он спросил:

— Моя мама умерла два года назад. Где она сейчас?

Звездный час Ханса-Петера пришел во время выступления одного лютеранского епископа. Епископ говорил скучновато и длинно. Главное — длинно. Время от времени, правда, он переходил на завершающие интонации. Замолкал… Вдыхал. И — с новыми силами продолжал свое выступление. Прервать его никто не осмеливался, потому что любое сообщество — даже богословское — имеет свою иерархию. Спасение пришло в лице Ханса-Петера. Он вошел в зал и остановился посреди рядов. Смотрел на епископа немигающим взглядом того, чья точка зрения отличается от общепринятой. Этот взгляд был настолько не похож на остальные, что епископ запнулся.

— Вы хотели что-то спросить? — поинтересовался он у Ханса-

Петера.

Ханс-Петер пожал плечами.

— Нет. Я просто хотел узнать, что здесь творится.

Под пристальным взглядом вошедшего епископ чувствовал себя менее уверенно. Произнеся еще несколько фраз, он в очередной раз выдохнул. Случая Ханс-Петер не упустил. Он протянул руку в сторону епископа и сказал:

— *Amen*.

Зал затрясся от беззвучного хохота. Выступление епископа уже не возобновилось. Кажется, именно после этого случая Ханс-Петер был временно отлучен от научных заседаний.

Между тем к епископам Ханс-Петер относился совсем неплохо. Нужно сказать, что и епископы в большинстве своем отвечали ему тем же. Когда после выступления мюнхенского профессора Венца Ханс-Петер спросил, не может ли он встретиться с лютеранским епископом Мюнхена, такая встреча была для него организована. Результатом аудиенции Ханс-Петер остался в целом доволен. После нее на повестку дня вышли встречи с Иоанном Павлом II и Бил лом Клинтоном. О чем Ханс-Петер хотел говорить с Папой, я не знаю, Клинтона же, по его словам, он хотел попросить прекратить бомбардировки Сербии. Репортажи о бомбометании его как телезрителя сильно беспокоили. По не зависящим от Ханса-Петера причинам ни одна из встреч не состоялась, и бомбардировки продолжились.

Зная широту кругозора Ханса-Петера, я спросил его однажды, что он знает о России. Он ответил, что, по его сведениям, это страна, в которой постоянно что-то случается. Помимо этого скорбного знания Ханс-Петер располагал информацией, что русские — большие сладкоежки. В этом мнении он укрепился благодаря нам. Приходя к нам в гости, он пил чай с тортом или пирожными. Мы не то чтобы постоянно ели сладкое, но к приходу Ханса-Петера у нас и в самом деле кое-что в этом роде почти всегда находилось.

Говорю «почти», потому что помню одно исключение, когда появление Ханса-Петера (я был дома один) застало меня врасплох. Я сказал ему, что сладкого у нас сегодня нет, но есть молоко и булка, которые я ему с удовольствием предложу. Поковыряв в носу, Ханс-Петер задумчиво произнес:

— Это я категорически отвергаю.

Он наморщил лоб и дальше говорил как бы сам с собой:

— Кто же мне обещал дать сегодня торт? Кажется, маленькая Даниэла.

Я пожелал ему удачи у маленькой Даниэлы, признавшись, что не представляю, о ком идет речь.

— Я тоже не представляю, — вздохнул Ханс-Петер.

Приходя к нам, Ханс-Петер рассказывал о событиях своей непростой жизни. Его очень раздражали соседи его отца («мелкотравчатые людишки») в деревне под Мюнхеном. Когда он приезжал домой на побывку, они, по его словам, его не замечали.

— Что я должен сделать, чтобы они меня заметили, — возмущался Ханс-Петер, — бросить бомбу?

Всякий раз нам удавалось его от этого отговорить.

В иных случаях соседи (возможно, те же самые), наоборот, не давали Хансу-Петеру покоя, спрашивая его советов по самым разным вопросам. У них ломалась газонокосилка, и они якобы вытаскивали Ханса-Петера из постели, чтобы узнать, как им быть.

— Проверьте электрику! — сердито кричал им (нам) Ханс-Петер.

Они проверяли электрику, и косилка, разумеется, тут же начинала действовать — исходя из хронологии рассказа, уже ночью. Такая востребованность была непростым испытанием, но, судя по мелькавшей в конце рассказов улыбке, были в ней и приятные стороны.

Между тем Ханс-Петер действительно работал. В терапевтических целях его (как и нескольких других ходячих пациентов центра) возили на пару часов в день на автобусный завод, где он, если не ошибаюсь, убирал стружки. Когда однажды в моем присутствии у него брали интервью, он скромно сказал, что делает автобусы. На вопрос: «Вы много работаете?» — Ханс-Петер чеканно ответил:

— День и ночь.

Чтобы излишне не сгущать краски, он кратко сообщил и о том, что по выходным его с товарищами по лечебно-педагогическому центру вывозят за город. Принимавшая участие в интервью директриса центра хотела было развить тему прогулок, но Ханс— Петер мягко ее остановил:

— Наличие отдыха я уже подчеркнул.

Он не был человеком, делающим из отдыха культ.

В последние годы Ханс-Петер стал мрачнеть. Во время одного из совместных праздников богословов и пациентов центра он сидел один и выглядел совсем уж подавленно. Подойдя к нему, я спросил, не принести ли ему сока.

— Наконец-то что-то позитивное, — ответил, кивнув, Ханс-Петер.

Последняя наша встреча произошла позапрошлым летом в Мюнхене. Рассказав о своей занятости, Ханс-Петер неожиданно сказал:

— Мне нужен покой.

Я из вежливости согласился. Он повторил свою фразу еще раз, и меня это удивило.

Когда я ему сообщил, что уезжаю, Ханс-Петер сказал:

— Очень-очень жаль, но ничего страшного.

Прощаясь, он прибавил, что только со мной способен вести осмысленную беседу. Я расценил это как комплимент. Как сказал бы вслед за постструктуралистами Бродский, оба мы были инструментами языка: я — русского, он — немецкого. Прорехи в опыте и сознании мы латали за счет речевого материала — каждый по-своему.

Мы и наши слова

Перечитывая Унбегауна

В одном из писем осени 1935 года Марина Цветаева писала: «Итог лета: ряд приятных знакомств (приятельств) и одна дружба — с молодым русским немцем — в типе Даля, большим и скромным филологом, — о нем был отзыв в последней книге Совр<еменных> записок: специалист по русскому языку XVI в. с странной фамилией (Унгеб) вот и ошиблась — Унбегаун». В чем Марина Ивановна точно не ошиблась — в сравнении немца Бориса Унбегауна с немцем (полудатчанином-полунемцем, если быть точным) Владимиром Далем. Обозначая удивительный немецкий триумвират нашей филологии, я бы добавил сюда еще одного ученого — Макса Фасмера, составителя самого авторитетного этимологического словаря русского языка. Три этих человека — каждый по-своему — коснулись важнейших струн нашей культуры и сделали их слышимыми.

Хотя, в отличие от трудов Даля и Фасмера, главная книга Унбегауна «Русские фамилии» не словарь, многими чертами словаря она, несомненно, обладает. Прежде всего — сотнями тщательно подобранных примеров. Но объединяет тройку великих не только вкус (очень, замечу, немецкий) к систематизации. Общим для них является дар одухотворять знание, превращать скучную, казалось бы, материю в настоящую поэзию.

Борис Генрихович Унбегаун, западным коллегам знакомый скорее как *Boris Ottokar Unbegaun*, родился в 1898 году в Москве. Начало пути было для филолога, вообще говоря, нетрадиционным: Константиновское артиллерийское училище в Петербурге. Участвовал в Первой мировой войне, затем сражался в Белой армии. Эмиграция. Учился в Люблянском университете и в Сорбонне. Среди его учителей — такие известные филологи, как А.Вайан и А.Мазон. Во время Второй мировой войны Унбегаун оказался в Бухенвальде. Выйдя на свободу, написал работу о славянском жаргоне в немецких концлагерях, что на удивленье напоминает судьбу Д.С.Лихачева, после советского концлагеря написавшего статью об особенностях воровской речи (все-таки устройство головы исследователя — особое, она не прекращает работу ни при каких условиях). После войны преподавал в Страсбурге, Брюсселе, Оксфорде. Последние восемь лет — до смерти в 1973 году — в Нью-Йоркском университете. В сфере интересов Унбегауна — морфология русского языка, история сербского языка, топонимика и много чего другого, но славу ему принесло прежде всего фундаментальное исследование русских

личных имен.

Капитальный труд Унбегауна, вышедший за год до его смерти, представил новый вид истории России — историю, отраженную в фамилиях. Если такое утверждение кому-то кажется преувеличением, возьмем лишь один частный аспект — суффиксы русских фамилий. Как известно, по происхождению своему наши фамилии в большинстве своем являются краткими прилагательными и формируются посредством суффиксов — ов (-ев) или — ин. Почему при этом у нас менее распространены (в отличие, допустим, от Польши) фамилии с суффиксом — ский (-цкий, — ской, — цкой) — ведь суффикс этот вроде бы и для русского языка не чужой?

Вот здесь и начинается история. Всё дело в том, что на раннем этапе формирования фамилий (XV–XVI вв.) на Руси было мало вотчинных (то есть наследственных) владений, и поместья могли менять своих владельцев. Суффикс — ский связывал семью с определенным местом, и малочисленность подобных фамилий как раз и показывает отсутствие в земельном вопросе постоянства. От Московской Руси осталось очень немного таких фамилий, и относятся они в основном к княжеским родам: *Волконский (река Волконь), Вяземский (город Вязьма), Пожарский (деревня Пожарка), Трубецкой (город Трубеч)*.

В той же Польше землевладение было наследственным, и фамилия на — ский стала не просто распространенным типом — она стала продуктивной моделью, по которой формировались фамилии самых широких масс, к наследственному землевладению не имевших уже, понятно, никакого отношения. Именно с этой моделью связано большинство наших нынешних фамилий на — ский, возникших в польско-украинско-белорусском языковом ареале и пришедших к нам в более поздний период.

Статистические вопросы Б.Унбегаун решал на материале справочника «Весь Петербург» за 1910 год. Сразу скажу, что достигнутые им результаты можно считать в целом корректными и сейчас. Они, как правило, подтверждаются подсчетами, проведенными на современном нам материале. И это закономерно. В отличие от имен, бытование фамилий зависит от моды в очень небольшой степени, ведь фамилию не выбирают — по крайней мере мужчины. Строго говоря, и женщины выбирают не фамилию: в первую очередь они оценивают ее носителя.

Огромное множество русских фамилий образовано от крестильных имен. 60 % представленных в справочнике «Весь Петербург» фамилий восходит к полной форме крестильного имени. Из 20 самых употребимых фамилий 15 принадлежат к

этой категории. В порядке убывания назову первые пять: *Иванов, Васильев, Петров, Михайлов, Федоров*.

Но многие фамилии, образованные от крестильных имен, восходят вовсе не к полной их форме, а к уменьшительной. Замечу в этой связи, что использование уменьшительных имен в прежнее время было несколько шире. Оно имело ряд оттенков, сейчас частично утраченных. Например, иерархический. Обозначение себя уменьшительным именем при обращении к начальству делом зазорным не считалось и, прямо скажем, приветствовалось. Современный телезритель был бы шокирован, если бы на встрече с президентом министр, допустим, образования и науки называл бы себя Андрюшкой. Телезрителя же средневекового это, полагаю, совершенно бы не смутило.

Так вот: уменьшительная форма крестильного имени дала большое количество известных ныне фамилий. Фамилия *Аверинцев* ведет свое происхождение от формы *Аверинец*, которая, в свою очередь, образована от имени *Аверкий*. Фамилия бывшего всероссийского старосты *Калинина* связана не с растением, как можно было бы подумать, а с формой *Калина*, восходящей к имени *Калиник*. Что же касается растений, то фамилия *Мичурин* связана с формой *Мичура*, образованной от *Дмитрия*. К уменьшительному имени *Радища* (*Родион*) восходит фамилия *Радищев*: в отличие от нашего времени, когда суффикс — ище стал увеличительным, в старину он был уменьшительным. Продолжая литературную тему, можно указать, что к этому же типу фамилий принадлежит и *Есенин* (*Есеня от Есип*).

От уменьшительных имен ведут свое начало фамилии современных режиссеров (*Михалков — Михалко — Михаил*), телеведущих (*Малахов — Малах — Малахия*), артистов (*Леньков — Ленько — Александр*), мимов (*Полунин — Полуня — Полуект*), футболистов (*Алдонин — Алдоня — Евдоким*), ученых (*Велихов — Велих — Вельямин, Веньямин*), генералов (*Трошев — Трош — Трофим*) и олигархов (*Потанин — Потаня — Потапий*).

Но в фамилиях отразились не только крестильные имена. Многие фамилии являются ответом на вопрос, выражаясь по-анкетному, о месте жительства и роде занятий наших предков. Так, выясняется, например, что у ряда лиц, профессионально связанных с пением, предки занимались вещами более прозаическими. Речь здесь может идти о *Гребенщикове* (*гребенщик* — изготовитель гребней), *Сукачеве* (*сукач* — прядильщик), *Хлебниковой* (*хлебник* — пекарь) и даже *Токареве*, чей уход от профессии предков кому-то может показаться ошибкой.

Особой частью антропонимии, связанной с родом занятий, являются фамилии русского духовенства. Есть несколько типов

таких фамилий, которые легко узнаются. Это фамилии, образованные от названий церковных праздников (*Вознесенский, Рождественский, Троицкий*) или слов, связанных с церковной традицией вообще (*Архангельский, Ливанов, Саульский*), фамилии, имеющие церковнославянские (*Глаголев*), греческие (*Аристов*) или латинские (*Кандидов*) элементы. Человек, незнакомый с этой традицией, может подумать, что фамилия *Велосипедов* образована от слова «велосипед». На самом же деле фамилия эта — из среды духовенства и восходит (как и «велосипед») к латинскому *veloces pedes* («быстрые ноги»). К духовной же среде восходят многие «цветочные» (*Тюльпанов*), двусоставные (*Добронравов*) и некоторые другие фамилии. Тип этих фамилий в каждом конкретном случае связан со вкусами духовного училища, где учащимся, по большей части бесфамильным, фамилии присваивались в массовом порядке.

О фамилиях, отражающих географические названия, я уже упоминал. На более поздних этапах образования фамилий к этому типу, представлявшему первоначально социальную верхушку, примкнули и другие слои населения. Так, параллельно с княжеской фамилией *Белозерский* (*Белоозеро*) образовалась фамилия *Белозерцев*. Подобным же образом появились параллели *Оболенский — Оболенцев* (город *Оболенск*), *Вяземский — Вяземцев* (город *Вязьма*). В русскую антропонимию в позднее время вошло большое количество «топонимических» фамилий на — ский, принадлежащих славянскому и еврейскому населению западнорусских областей. Еврейские фамилии, образованные по подобному типу, отражают, как правило, «черту оседлости»: *Гомельский* (город *Гомель*), *Овруцкий* (город *Овруч*), *Слонимский* (город *Слоним*).

Если этимология «профессиональных» фамилий более или менее прозрачна, то для выяснения значений фамилий второй категории требуется хорошее знание топонимики — не только нынешней, но и исторической (некоторые названия могут исчезать). Так, анализ фамилии *Коварский* предполагает обращение не к существительному «коварство», а к топониму *Ковары*.

Самую, может быть, любопытную страницу в истории русской антропонимии составляют фамилии, образованные от прозвищ. Прозвище — это наименование, граничащее с творчеством. Прозвище учитывает внешние данные, черты характера, манеры. По выражению Гоголя, «каркнет само за себя прозвище во всё свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица». И не так уж трудно представить, что у советского премьера *Косыгина* был в роду *Косыга*, косоглазый человек, у первого президента СССР —

человек горбатый (*Горбач*), а у известного кинорежиссера и депутата — человек говорливый (*Говоруха*).

С той же степенью вероятности мы можем предположить, что олигарх *Мордашов* ведет свой род от гипотетического *Мордаша*, человека с крупным лицом: для основателя династии качество, на мой взгляд, незаменимое. В этом контексте нельзя не вспомнить и *Черномырдина*. Несмотря на некоторую смазанность фонетики (влияние диалекта), ни для кого не секрет, что предка Виктора Степановича окружающие именовали *Черной Мордой*. Последний антропоним обращает наше внимание на тот факт, что на длине прозвищ в прежние времена не экономили. Нередко прозвища состояли не из одного слова.

Чтобы дать читателю почувствовать аромат древнерусского источника, приведу некоторые прозвища по Вкладной книге Кирилло-Белозерского монастыря (то есть книге, фиксировавшей вклады в монастырь. Хранится в Кирилло-Белозерском собрании Российской Национальной библиотеки, № 78/1317, XVI в. Орфография примеров упрощена): «Лета 1580, февраля. Псковитин, московьской жилець Гаврило Тряси Солома, во иноцех Галасиа, дал вкладу 175 рублевъ. <…> Да Федоръ, а прозвище Пятой, Ивановъ сынъ Каргополець Брянцовъ, дал полдвора и пол-анбара вкладу. <…> Старець Елисея Подкованая Вошь, постриженикъ Угрешского монастыря, дал вкладу 14 рублевъ. <…> Дал старець Антоней Вшивой ковшикь да корчикъ серебряны. <…> Из Горъ старица Феодосья Каргополка, Пятого дочи Брянцова, дала вкладу 3 рубли без гривны. <…> Кузнец Торокан, во иноцехъ Панфилъ. <…> Крестьянин Козел, а имя ему Данило Орифин, во иноцех Деонисей. <…> Крестьянинъ Горемыка, во иноцех Еуфимей. <…> Москвитинъ Иаковъ Тимофеев Синева Носу. Дал меринъ гнед да кобылу рыжу, обое за 13 рублев. <…> Дал Григорей Сухоплюевъ, серебряной мастеръ, бархат цветной».

К официальному документу XVI века стоит присмотреться повнимательнее. Помимо неоднократного упоминания таких средневековых (и не только средневековых) реалий, как вши и тараканы, он знакомит нас с рядом важных обстоятельств. Какими бы забавными ни казались нам сейчас приведенные в документе прозвища, именно в официальной бумаге без прозвищ было не обойтись: это было вопросом идентификации (только читая такого рода тексты, можно понять, какое благо фамилия). Небезынтересно и то, что в этих отрывках употребляется характерное для Древней Руси наименование по очередности рождения: при тогдашнем обилии детей в семье это имело особый смысл. Именно от таких прозвищ были образованы

фамилии *Третьяков* — «родившийся третьим», *Меньшиков* — «меньший» и *Вешняков* — «родившийся весной» (чтобы закруглить семейную тему, замечу, что фамилия *Богданов* порой указывала на незаконнорожденность родоначальника династии). Наконец, в этом тексте мы находим одно из типичных охранительных имен: *Горемыка* (ср. фамилию *Горемыкин*). В другой части рассматриваемой рукописи упоминаются сходное по задачам прозвища *Истома* (ср. фамилию *Истомин*). По большому же счету подобную роль могла выполнять и добрая половина вышеперечисленных прозвищ.

Охранительные имена или прозвища-обереги для Древней Руси были характерны в высшей степени. Кто мог назвать своего ребенка *Злобой, Кручиной* или *Некрасом* (давшим соответственно фамилии *Злобин, Кручинин* и *Некрасов*)? Только тот, кто хотел, чтобы ребенок стал добрым, веселым или красивым. По этой же причине существовали такие прозвища, как *Беда, Бздячий, Говно, Грех, Пердло, Сука, Упирь Лихой, Хер, Чорт*. О том, что сходные процессы существовали и на Западе, говорит фамилия современного немецкого политика Эрвина Тойфеля (*Teufel* — Дьявол). Справедливости ради следует отметить, что от таких фамилий их носители впоследствии пытались по возможности избавиться.

Многие прозвища отсылали к месту жительства их носителей (и здесь мы снова возвращаемся к географическим названиям), в том числе и в цитированном тексте. Занимаясь в свое время рукописями Кирилло-Белозерского монастыря, я столкнулся с тем, что в нем было по меньшей мере три монаха по прозвищу *Рукинец*. Прозвище восходит к названию деревни Рукина Слободка, принадлежавшей монастырю.

Помимо множества предоставленных Борисом Унбегауном сведений (а точнее — вместе с ними), читатель усваивает одну важную мысль: всё на свете переплетено. История культуры и — шире — цивилизации невыразимо богата. Может быть, потому ничто не присутствует в ней в «чистом виде». Самый польский поэт носил белорусскую фамилию (*Мицкевич* восходит к *Міцка*, уменьшительное от *Дмитрий*), а главный грузин СССР — фамилию, восходящую к осетинскому корню (с точки зрения Унбегауна, *Джугашвили* — от осетинского «джуха» — «мусор»). Самые русские фамилии — и в этом отражена православная основа нашей культуры — образованы от еврейских и греческих имен. Большое количество тюркских фамилий отражает непростую политическую историю России: *Аксаков* (восходит к тюркскому «хромой»), *Аракчеев* («пьяница»), *Бердяев* («давший»), *Каракозов* («черноглазый»), *Карамзин* («чернявый»), *Колчак*

(«железная рукавица»), *Кутузов* («неистовый»). Частью русской антропонимии стали белорусские по происхождению фамилии (*Ростропович, Шостакович, Ходасевич*), украинские (*Коротич, Петлюра, Шевченко*), польские (*Врубель, Твардовский, Циолковский*), еврейские (*Бродский, Мандельштам, Эфрон*), греческие (*Канделаки, Мавроди*), молдавские (*Фрунзе*), сербские (*Вучетич*), грузинские (*Баланчин* от *Баланчивадзе*), а также невероятное множество других. Обо всем этом нам неплохо помнить.

Люди на своем месте

При получении очередного гонорара в «Новой газете» мне понадобилось внести изменения в адрес перевода. Следуя редакционным инструкциям, я обратился к бухгалтеру Анне Алтынниковой. Рутинный вопрос (не знаю, позволительно ли так говорить о гонораре) оказался тут же решен, и перевод пришел даже раньше, чем я его ждал. Будучи петербуржцем, с Анной Алтынниковой я связывался не лично, а по электронной почте. Я не слышал ее голоса, не имел представления о ее возрасте, но по стилю работы Анны понял, что передо мной профессионал. Было и еще кое-что: фамилия. Не вызывало сомнений, что человек с подобной фамилией не мог оказаться в бухгалтерии случайно. Алтын (алтынник) — старинная денежная единица, равная 6 деньгам. Для удобства конвертации: 33 алтына и 2 деньги составляли один рубль. По молчаливой договоренности гонорары Анна Алтынникова переводит мне в рублях.

Всё это я не торопясь подсчитывал по дороге на почту, куда шел по делу, в сущности, также рутинному. Один немецкий университет выслал мне копию издания византийской Хроники Георгия Синкелла, но до меня она так и не дошла. Я вовсе не считал, будто на нашей почте позарились на посланный мне греческий текст, просто, размышляя о сотрудничестве русского и немецкого почтовых ведомств, я почему-то решил, что пропала Хроника Синкелла все-таки на нашей почте. Потому, может быть, что на немецкой почте у меня ничего не пропадало, а на нашей пропадало. И довольно часто.

Просить немцев копировать Хронику еще раз было уже неловко, и я написал в министерство связи с просьбой, по возможности, найти и вернуть мне высланный текст. Как литературовед, я также доводил до сведения министерства сроки доставки писем русских писателей в XIX веке. Они были в несколько раз меньше нынешних. На фоне полнейшего отсутствия в этом веке авиатранспорта и электронной почты, оттянувшей на себя большую часть переписки, такой факт показался мне парадоксальным. И я сообщил о нем в министерство.

В ответ мне пришло объемистое разъяснение относительно «внутренних и международных почтовых отправлений», подписанное заместителем начальника Управления связи В.Ульяновым. В письме содержалось много вещей, мне доселе неизвестных, в том числе ссылки на постановление Правительства РФ от 24.03.2006 и даже на Всемирную почтовую конвенцию (Бухарест, 2004). Там не было главного: моей Хроники

и объяснения того, почему наша почта работает так плохо.

Я еще раз перечитал письмо Ульянова, и вдруг меня осенило, что на самом деле к почте эта фамилия не имеет никакого отношения. В работе «Советы постороннего» (так, несомненно, могло бы называться и письмо из министерства) другой Ульянов призывал брать телефон, телеграф и мосты. Вопреки распространенному заблуждению, о почте там не было сказано ни слова. Получается, что в какой-то момент о ней просто забыли. И не вспоминают до сих пор.

Подождав еще какое-то время, я отправился на почту. После нескольких телефонных разговоров с ее сотрудниками (по разным, замечу, поводам) я решил, что настало время для личного общения. В глубине души я надеялся, что и на почте найдется настоящий профессионал, так сказать, человек на своем месте — по фамилии, допустим, Маркин. Ясно, что не В.Ульянова это дело — рыться в почтовых отправлениях, а вот Маркин — при том даже, что его фамилия с маркой не связана — непременно найдет. Утерянную бандероль он, как фокусник, просто из рукава вытащит и вручит мне ее с извинениями. Или без извинений, но — вручит. Просто скажет, что вот, мол, ваша бандероль, зря расстраивались, нам она, если честно, без интереса.

Я знал нескольких людей с фамилией Маркин. Никто из них не имел отношения к почте, и это про звучало первым диссонансом в моей светлой, в общем-то, мечте. Подозрение, что мечта является утопией, усиливалось и оттого, что, помимо Анны Алтынниковой, первоначально я припомнил лишь два реальных примера соответствия фамилии месту: дирижера Оркестра кинематографии Скрипку и экс-министра иностранных дел Украины Зленко. Близок к ним был и скандинавист Вильям Похлебкин, прославившийся в первую очередь изданиями в области кулинарии. Его отцом, как ни странно, был вовсе не Похлебкин, а революционер-подпольщик Михайлов, взявший себе такой псевдоним. Даже выйдя из подполья, Михайлов-Похлебкин кулинаром, увы, не стал. Наконец, в памяти возникал директор фильма «Место встречи изменить нельзя» Панибрат (под тревожную музыку он проходит в титрах последним), но о стиле его работы с киногруппой мне ничего не известно.

Разумеется, с моей стороны было бы бессовестным не упомянуть и о собственной фамилии, поскольку семантика ее выражена предельно ярко. Нет, я не спускался к «Титанику» и даже никогда не плавал с аквалангом. О происхождении своей фамилии (она известна по меньшей мере с XIX века и с подводной деятельностью не связана) знаю лишь то малое, о чем тетка моего отца Евфросинья рассказала мне в единственную

нашу встречу. По ее словам, в Ставропольском крае существует станица, где фамилия Водолазкин бытует наряду с Водолазко, причем первая (так думаю я) происходит из второй. Первым словом науки в истолковании моей фамилии стала запись Д.С.Лихачева на подаренной мне книге: «Дорогому Евгению Германовичу В… с благодарностью за спасение. Д.Лихачев. 25.XI. 96. СПб.». Книга была подарена за три дня до празднования 90-летнего юбилея Дмитрия Сергеевича, которое я, по его просьбе, помогал ему организовывать. Надпись сопровождалась картинкой, на которой водолаз вытаскивал человека, обозначенного буквами «Д» и «С». К миру полезных соответствий и неслучайных совпадений этот подарок некоторым образом причислял и меня.

Чувство, охватившее меня по дороге на почту, было тоской по ясному и по-своему логичному устроению жизни. Жизни, где каждый назван в соответствии со своими качествами и на что-то большее не претендует. Идя по Большому проспекту Петроградской стороны, я вдруг подумал, что проспект, в сущности, совсем и не большой. Может быть, это и является причиной постоянных автомобильных пробок. Стоит даже предположить, что, если бы Большой так не назывался, машины бы сюда и не поехали. Ведь не бывает же пробок на параллельном ему Малом проспекте, поскольку название Малого не симулирует высокой пропускной способности.

Да, я тосковал по жизни, где все и всё на своем месте. Мне кажется, эта расслаивающаяся русская реальность пошла как раз из Петербурга, где даже упомянутые мной Большой и Малый проспекты присутствуют дважды. Напомню, что, помимо Большого и Малого проспектов Петроградской стороны, в Петербурге есть Большой и Малый проспекты Васильевского острова. При этом на Васильевском острове есть еще и Средний проспект, которого нет на моей Петроградской стороне. Об отсутствии здесь Среднего я, впрочем, не жалею: привычка жить на территории крайностей закаляет.

Нащупав тайное соответствие имени и явления, я попытался выстроить новую общественную систему, основанную, как мне казалось, на вполне разумных основаниях. Хорошо бы, думал я, проходя мимо своей поликлиники, чтобы офтальмологом в ней был Глазунов, а дантистом — ну, допустим, Зубков. На худой конец, Грызлов. Или — если брать действительность во всем ее многообразии — чтобы в соседнем магазине трудящихся по утрам встречал Похмелкин. Чтобы за парикмахерскими в стране присматривал Кудрин, а спортсменов курировал бы Швыдкой. Командование вооруженными силами стоило бы поручить

Войновичу: помимо повышения обороноспособности, мы смогли бы значительно продвинуться и по части армейского юмора. Главой пищевой промышленности я бы непременно поставил Миллера, чья фамилия в переводе с английского (*miller* — мельник) не имеет ничего общего с добычей газа.

Это была мечта о Золотом веке. Хотя, скорее, все-таки воспоминание: в фольклоре большинства народов Золотой век — позиция стартовая, за ней лишь последовательное ухудшение. Как бы то ни было, изначально в моей мечте сквозило что-то несбыточное, да и сам подход к делу был нереалистичен — потому хотя бы, что названные лица были уже в целом трудоустроены.

Когда я пришел на почту, мир, так любовно выстроенный мной по дороге, начал ощутимо шататься. Мое идеальное государство рушилось, потому что государство (я чувствовал, как рождается фразеологизм) начинается с почты. Может быть, это не вполне осознают те, чьи письма доставляются фельдъегерской службой, но по сути это так.

На почте меня ждало разочарование. Во-первых, меня не встретил Маркин. Во-вторых — и в этом не было уже ничего удивительного, — византийскую хронику не нашли. Я разговаривал с женщиной в выцветшем халате — усталой и отрешенной. Фамилия ее нигде не значилась, но я и не пытался ее узнать. Независимо от своей фамилии, такая женщина по определению не могла найти моей бандероли. Всё, что проходило через ее руки, давно стало для нее отправлениями в самом непочтовом смысле слова. При ее зарплате это, вероятно, можно понять. Она смотрела поверх меня, а я всё не уходил. Очередь выражала нетерпение.

— А почему письма из Москвы идут по нескольку недель? — поинтересовался я на всякий случай.

Она пожала плечами. В конце концов, не она их возила.

— Письма Достоевского из Германии шли сюда всего четыре-пять дней, — не унимался я. — Почему?

— Потому что Достоевский был гений, — сказал кто-то из очереди.

Разумеется, это был правильный ответ. В конечном счете всё определяется масштабом личности.

Уже на обратном пути вспомнил об актере Тараторкине, балерине Семеняке и футболисте Быстрове. Фамилии Невинный и Шмыга касались приватной сферы и на расстоянии не проверялись. Да, вот еще: по воспоминаниям Иосифа Бродского, соседкой Н.Я.Мандельштам (и ответственной квартиросъемщицей) была в псковской коммуналке женщина по

фамилии Нецветаева. Ничего более разительного в смысле соответствий я не встречал.

Дома я включил компьютер и, покрутившись на винтовом стуле, вернулся к комментированию древнерусского хронографа. После почтовой прогулки это был приятный контраст. В средневековой жизни всё было проще, потому что прозвищу, в отличие от фамилии, свойственно учитывать реальность. Иван Грозный был грозным, Василий Блаженный — блаженным, а Максим Грек, соответственно, греком. До некоторой степени эта традиция продолжается и в науке о древности. Корректором первой же взятой мной с полки книги («Древлехранилище Пушкинского Дома». Ленинград, «Наука», 1990) оказалась С.И.Семиглазова.

Госкомаббревиатура

С приходом весны хочется писать об аббревиатурах. Они короткие и звонкие, как питерская капель. БАМ. ГУМ. РАН. Если, конечно, это не Минздравсоцразвития, которое свалилось на наши головы бесформенной ледяной глыбой. Или не Минобрнауки, в сравнении с которым даже советский Минтяжмаш звучит как детская считалка. О таких аббревиатурах хочется поскорее забыть. Но не получается.

Что такое аббревиатура? Так принято обозначать слово, созданное путем усечения и соединения ряда слов (итал. *abbreviatura*, восходящее к лат. *abbrevio* — сокращаю). Уже из этого определения следует, что речь в данном случае идет о некой словообразовательной модели. Такое понимание дела порой позволяет исследователям видеть различие между аббревиацией как процессом создания новых слов (МЭРТ, МРОТ, психбольница) и графическими сокращениями, новых слов не создающими (обозначения типа «и т. д.» или средневековые написания под титлой).

Зачем создаются аббревиатуры? Однозначного ответа здесь быть не может. Движущими в этом процессе являются, на мой взгляд, две силы. Одна из них — принцип языковой экономии, другая — то, что в самой общей форме можно определить как стремление к сакрализации. Начну со второй.

Аббревиация возникла не сегодня. Это древнее и почтенное явление отмечено в ряде культур Востока, Греции и Рима. Там аббревиатуры представали в самых разных формах и обслуживали по преимуществу область сакрального. Иногда — тайного, которое, как известно, порой способно сакрализоваться. Во многих культурах святость явления предполагает его неназывание или, по крайней мере, неполное называние.

Если брать историю нашей собственной культуры, то феномен сокращения присутствует в ней прежде всего на уровне графическом. Священные слова — Бог, Богородица, Иисус Христос, Спаситель — писались в сокращении под титлой (титла — надстрочный значок, сигнализирующий о сокращении слова). Выпадали — или выносились над строкой — буквы из середины слова. И в графике, и в семантике этого явления мы были наследниками византийцев. Интересно в этом отношении слово «царь», получившее распространение с XV века и восходящее к форме «цАсарь» («цьсарь»). Есть основания полагать, что новая форма не в последнюю очередь связана с графическим обликом слова: принадлежа к именам сакральным, слово «цАсарь»

писалось под титлой с выносной «с». Нельзя сказать, что вопросы экономии в древности не играли совсем уж никакой роли. В надстрочное пространство выносились окончания часто употреблявшихся слов (например, буква «е» в «рече»), частица «же» и еще кое-что, но — не экономия была в те эпохи определяющей.

Функция сакрализации или, скажем так, придания большей значимости сохранилась и в Новое время. В каком-то смысле именно она определила движение Татьяны Лариной, писавшей «На отуманенном стекле / Заветный вензель *О* да *Е*». И уж не знаю, что движет Б.Б.Гребенщиковым, когда он — явно не по размеру — примеривает на себя обозначение БГ. Новая сфера сакрального заставляла в первые десятилетия советской власти придумывать и имена-аббревиатуры: Долкап (долой капитализм), Мэлс (Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин), Слачела (слава челюскинцам).

Совсем другая история — принцип языковой экономии. Именно он определяет характер подавляющего большинства сегодняшних аббревиатур. И хотя принцип этот также не новый, ведущую свою роль он получил менее столетия назад. Начало аббревиатурного бума — как за границей, так и у нас — принято относить к рубежу XIX и XX веков. Дореволюционные аббревиатуры имели относительно благополучный облик и были, как правило, произносимы. В качестве примера здесь можно привести название компании «Лензолото» (слог «лен» соотносился в нем не с вождем мирового пролетариата, а с рекой: «Ленское золото»). Одним из катализаторов этого бума стала Первая мировая война. Многие из аббревиатур были связаны с военной сферой (слова типа «главковерх» — верховный главнокомандующий, «начштакор» — начальник штаба корпуса и др.). Материал для аббревиатур нередко предоставлял телеграф с его системой сокращений слов. Но и без телеграфа дело в этой сфере пошло быстро. Может быть, даже — слишком быстро. Словообразовательная модель оказалась в высшей степени продуктивной.

В полную силу она показала себя после октябрьского переворота. И это не случайно: новая жизнь требовала новых слов. Поток аббревиатур оказался таким мощным, что дрогнули даже самые радикальные. Так, по свидетельству А.В.Луначарского, резкой была реакция В.И.Ленина на аббревиатуру телеграммы, сообщавшей о том, что «шкрабы голодают». Аббревиатуру «шкраб» (школьный работник) запретили, но голодать они от этого, увы, не перестали. В «Бане» В.В.Маяковского появляется «Главначпупс» (главный начальник

по управлению согласованием), Маяковским же высмеивается «Коопсах» (кооператив сахарной промышленности). О том, что аббревиацию в послереволюционные годы открыли для себя самые широкие слои населения, свидетельствует, в частности, двустишие «На Твербуле у Пампуша / Ждет меня миленок Груша», оставшееся в памяти Корнея Чуковского (впрочем, с 1950 года Пампуш уже и не на Твербуле).

Процесс создания новых аббревиатур, что называется, пошел. Впоследствии он имел разную интенсивность, но никогда не останавливался. На него не действовали ни насмешки, ни увещевания. Воспрепятствовать процессу не смогло даже то, что по поводу аббревиатур со свойственной ему непосредственностью на XXII съезде КПСС высказался Н.С.Хрущев: «Что это за собачий язык нам навязывают? Назовите по-человечески…» По-человечески не получается: уж слишком аббревиатуры удобны.

По способу образования аббревиатуры подразделяются на несколько видов. Буквенные аббревиатуры состоят из первых букв вошедших в них слов. Слоги новых слов в этом случае образуют названия букв: СССР («эсэсэсэр»), НКВД («энкавэдэ»). К этой категории должно было принадлежать, скажем, слово ФРГ («эфэргэ»), но правильному наименованию буквы «эф» оно выразило свое откровенное «фэ». Проблему решает то, что «фээргэ» сейчас постепенно вытесняется «Германией». Другой разновидностью аббревиатур являются акронимы или звуковые аббревиатуры. Здесь наименование букв значения не имеет, всё читается так же, как в обычных словах: ГЭС, ГАЗ, ТАСС и печальная аббревиатура МРОТ, в которой форма полностью отвечает содержанию. Иногда в соответствии с этой моделью произносят США («сша»). Теоретически это более правильно, чем произносить, как делается сегодня, «сэшэа». Признавая, что последняя форма (подобно «фээргэ») стала преобладающей, можно лишь констатировать, что внешней политикой в свое время у нас занимались люди, считавшие «сэ», «шэ» и «фэ» произносительной нормой. Еще один тип представляют слоговые аббревиатуры, соединяющие, как понятно из названия, отдельные слоги разных слов: «колхоз», «роддом», «худрук». Есть смешанный тип (например, «гороно», соединяющее слоговой тип с акронимическим), есть тип, прибавляющий один слог к целому слову («запчасти») и даже первый слог одного слова — к последнему слогу другого слова («мопед»: «мотоцикл» + «велосипед»). Сокращается, наконец, лишь прилагательное в словосочетании: «матлингвистика», «физкультура». Иначе говоря, желающим образовывать аббревиатуры есть из чего выбирать.

Чем являются аббревиатуры с точки зрения грамматики?

Словами. Но словами-инвалидами. Безрукими, безногими, бесполыми. И если слоговые аббревиатуры демонстрируют определенную гибкость (за исключением слов типа «завкафедрой»), то с буквенными аббревиатурами просто беда. В основном они неизменяемы и с другими словами согласуются по роду господствующего в аббревиатуре слова. ГЭС — «она», потому что «станция». Вместе с тем это правило нередко нарушается, в особенности аббревиатурами, оканчивающимися на согласную. Потому что язык — живой, и сквозь навязанные ему конструкции прорастает новыми побегами. Образования желают стать словами и (здесь можно выразить солидарность с Н.С.Хрущевым) очеловечиться. Так, аббревиатуры ТАСС и вуз, несмотря на средний род господствующего слова, перешли в мужской. Просто потому, что окончание на согласный характерно прежде всего для мужского рода. По этой же причине ОСАГО обнаружило вполне законную тенденцию к среднему роду. Из стремления опять-таки к очеловечиванию глухое *SMS (Short Message Service)* стало вполне себе жизнерадостной эсэмэской.

Аббревиатуры называют иногда единицами второй номинации, и это справедливо. Они сокращают единицы первой номинации (слова, рожденные, так сказать, естественным путем) и образуют эту самую вторую. Выражаясь в категориях семиотики, можно сказать, что аббревиатура — знак знака. В природе знака — обобщать действительность. Таким образом, аббревиатура — действительность, обобщенная дважды, а это уже чего-то стоит. В этом пункте, как мне кажется, два названных мотива создания аббревиатур (сакральность и языковая экономия) взаимодействуют.

Употребление аббревиатур, мотивированное в наше время стремлением разгрузить речь, во многих случаях является и признаком — нет, не святости — *посвященности*. Когда, допустим, политолог до предела уснащает свою речь аббревиатурами, в меру искушенная публика делает вывод: да, уж этот-то, что называется, в курсе дела. Но тот же политолог должен знать, что на уровне чуть более высоком такого рода украшения будут восприниматься как нечто не вполне *comme il faut*. Аспиранты-медиевисты порой произносят «ПВЛ» («Повесть временных лет») и «ВМЧ» («Великие Минеи Четии»). Это — то, чего зрелый исследователь никогда не позволит себе сделать. Да, наука полна аббревиатур (и в письменных текстах без них не обходится ни одна отрасль знаний), но есть вещи, которые лучше произнести полностью.

Настроенность нашего нынешнего сознания на определенную волну позволяет видеть аббревиатуры в вещах совершенно

неожиданных. Так, за именем *Гертруда* ряду лиц виделась «героиня труда», а за именем *Каспар* — «Каспийское пароходство». Подобное умонастроение в свое время было хорошо выражено Иосифом Бродским: «“Кто такой Савонарола?” / “Вероятно, сокращенье”» («Представление»).

Аббревиатур стало так много, что, подобно «всамделишним» словам, они приобрели многозначность, т. е. получили способность быть знаком совершенно разных вещей. ЦИК, например, расшифровывается не только как «Центральная избирательная комиссия» (самое ныне известное и актуальное значение), но и как «Центральный исполнительный комитет», «центр ипотечного кредитования», «циркулирующие иммунные комплексы» и т. д. Вероятно, именно признание многозначности аббревиатур сделало некогда популярной расшифровку ПТУ как «помогите тупому устроиться» или — в наши дни — ГИБДД как «гони инспектору бабки, двигай дальше».

Аббревиатуры вошли в нашу жизнь так прочно, что вопрос об их необходимости бессмысленно даже поднимать. Такого количества неназванных явлений действительность нам еще никогда не предъявляла. И ведь не просто явлений — сложных явлений, одним словом и впрямь не покрываемых. Признавая, что словотворчество необходимо, согласимся и с тем, что аббревиация сейчас — один из важнейших его типов. Это опять-таки вне обсуждения. Что можно и нужно обсуждать — качество нашего словотворчества.

Прежде всего следует избавиться от слов-монстров. Так, неприемлемым кажется приведенное обозначение дорожной милиции. ГИБДД — вариант для глухонемого: невозможно ни произносить, ни тем более слышать. Разрешит ли это ведомство комбайнам «Дон» двигаться по Тверской? Допускаю, что оно сочтет их там неуместными. Почему же оно считает, что в русском языке уместно ГИБДД?

А Минобрнауки? «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Обучайтесь и исследуйте. Не лучше — Минздравсоцразвития. Эта аббревиатура предупреждает нас о том, что наименования чиновников опасны для культуры. Ни фантазия, ни чувство юмора не являются их сильной стороной. До некоторой степени исключением был лишь М.Е.Швыдкой. Судя по аббревиатуре его ведомства (ФАКК — Федеральное агентство по культуре и кинематографии), у него есть и то и другое. Возможно, также знание английского.

Обращаюсь к тем, кто в данный момент занят созданием аббревиатур: не стоит торопиться. Существует не менее десятка различных способов это сделать (некоторые из них описаны

выше). Если неблагозвучна буквенная аббревиатура, ее можно заменить слоговой — и наоборот. Она должна быть короткой: длинная аббревиатура теряет смысл. В конце концов, название ведомства вовсе не обязано перечислять все его отделы. Оно — лишь знак, который не должен включать все конструктивные элементы означаемого.

Как пример удачной аббревиатуры мог бы привести «Яблоко» (Явлинский, Болдырев, Лукин). Вне зависимости от политической ориентации упоминание о фрукте у рядового гражданина рождает положительные эмоции. С грамматической точки зрения эта аббревиатура равна обычному «яблоку». Можно, таким образом, смело утверждать, что отсутствие партии в Думе с качеством аббревиатуры никак не связано.

Образцовыми можно признать слова «эсминец» (эскадренный миноносец) и «лазер» *(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)*. Эти аббревитуры настолько хорошо имитируют структуру слова (включая суффикс), что не всякому придет в голову, что зачаты они в пробирке. К этой же категории относится и выходящий из употребления «лавсан» (Лаборатория высокомолекулярных соединений Академии наук). В этом слове, как, скажем, в словах «бомж» (без определенного места жительства) и «пиар» *(Public Relations)*, слышится что-то французское. «Самбо» (самооборона без оружия) ассоциативно связывается с самбой, ПДД (правила дорожного движения) — с балетом. И даже ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности), перефразируя Северянина, — с «чем-то испанским».

Почему перечисленные аббревиатуры можно считать приемлемыми? Потому что все они — каждая по-своему — входят в какую-то парадигму. Проще говоря, всякое новое слово должно быть на что-то похожим. Соответствовать чему-то такому, что в языке уже есть. Только в этом случае оно может быть безболезненно принято.

Подобно иноязычным заимствованиям, аббревиатуры в нашем языке не являются чем-то незаконным. Это один из путей развития языка, который невозможно, да и не нужно закрывать. Язык не может ограничиваться словами «самовар» и «балалайка». Стремиться к этому было бы так же странно, как призывать всех ходить в поддевке и смазных сапогах. Но проникновение новых слов должно быть контролируемым, и сейчас это актуально как никогда.

Нам жизненно необходим своего рода комитет по неологизмам, состоящий из авторитетных филологов, писателей и журналистов. Он утверждал (разрабатывал) бы новые

аббревиатуры и предлагал бы замены наиболее одиозным заимствованиям. Предписания его должны были бы стать обязательными для всякой официальной речи, начиная — напоследок позволю себе аббревиатуру — со СМИ. Деятельность такого комитета во Франции признана чрезвычайно полезной. Почему бы не попробовать и нам?

Трудности русского языка

Придя в Пушкинский Дом четверть века назад, на большом дубовом шкафу, служащем в Отделе древнерусской литературы доской объявлений, я увидел примечательный документ. Он был озаглавлен «Не рекомендуется» и подписан заведующим Отделом Д.С.Лихачевым. Своим сотрудникам Дмитрий Сергеевич не рекомендовал «1. Говорить и писать “информация” там, где можно просто сказать “сведения”; 2. Говорить и писать “практически” там, где можно сказать “по большей части”, “в большинстве случаев” и т. д.». Напечатав первые строки на машинке, Лихачев затем продолжал список от руки, регулярно добавляя в него очередные пункты.

Впоследствии этот список сменился другим, обновленным, и по просьбе заведующего все мы приняли участие в его составлении. Там оказались слова «качественно» в значении «высококачественно», «переживать» в значении «волноваться», «волнительно» и много чего другого. На одном из моих первых докладов в Пушкинском Доме Лихачев также попросил меня не употреблять выражение «честно говоря» («Разве всё остальное вы говорите нечестно?» — спросил академик). Поблагодарив за поправку, я (честно говоря) испытал тогда некоторые сомнения в ее справедливости. А теперь, спустя годы, соглашаюсь: есть в этом выражении какое-то жеманство. В целом же, как я теперь понимаю, содержание всех тогдашних списков и поправок отражало относительно благополучное состояние языка накануне больших перемен.

Вспоминая, как строго Дмитрий Сергеевич следил за нашей речью, я не могу представить себе человека, имеющего большее право наставлять в области русского языка. Лихачеву оно было дано не одним лишь его научным и общественным статусом. Это было особое право того, кто за любовь к буквам отсидел срок на Соловках: внимание «органов» привлек его доклад «О некоторых преимуществах старой русской орфографии». Того, кто, в сущности, олицетворял собой понятие нормы — и в речи, и в жизни. Нормы в ее глубинном, я бы сказал, *основополагающем* смысле. Говорил и писал Лихачев очень просто, так просто, как это может позволить себе человек, мысль которого уже не нуждается в орнаменте.

Размышления о современном состоянии русского языка я не случайно начал с упоминания о Лихачеве. Говоря об изменениях, произошедших в нашей речи за последние два десятилетия, для со(противо)поставления мне хотелось предложить нечто из

области бесспорного — чтобы не потерять масштаба. Что же до списка нерекомендованных слов, то он в нашем отделе больше не висит. Не потому, что кто-то из нас стал относиться к языку менее внимательно. Просто этих слов возникло такое множество, что никакого шкафа для них теперь не хватит. Вспоминая этот список с благодарностью, настоящие строки я рассматриваю как своего рода заметки на его полях.

В области русской речи произошло землетрясение. Если учесть наплыв новой лексики, можно говорить и о потопе — как кому нравится. Важно следующее: то, что в общественно-политической сфере фиксировалось как изменение строя, распад СССР, перемены в структуре общества, миграция населения, новая фаза научно-технической революции и т. д., — имело и свое языковое измерение. Потрясения в области языка оказались не меньшими, чем на полях сражений или, скажем, в залах залоговых аукционов, потому что во всех без исключения сферах бытия люди пользовались языком. В девяностые годы пресловутое бытие, словно начитавшись Маркса, наотрез отказалось определяться сознанием. Оно вышло из-под контроля, встало на дыбы и рухнуло на наше бедное сознание с его главным инструментом — языком. Теперь, когда пыль, что называется, осела, вполне уместно оценить возникшие в языке изменения и подумать, как нам с ними быть. Но — обо всем по порядку.

Топонимы и этнонимы

Если мне не изменяет память, одно из ярких впечатлений перестроечных лет было связано с топонимикой. В один прекрасный день слово «Таллин» стало на одну «н» длиннее. Тогда изменения топонимов были еще в диковинку, и от неожиданности мы не сразу поняли, как к этому следует относиться. Людям религиозным или просто образованным это напоминало библейский рассказ о завете Бога с Авраамом, включавшем в себя повеление в имени «Аврам» удвоить «а», а в имени «Сара» — «р» (Бытие, 17: 5, 15). Между тем в случае с Таллином мотивация оказалась вполне земной. Это был первый шаг к независимости Эстонии, сделанный, замечу, в сфере русского языка, т. е. на территории совершенно неэстонской.

Едва ли не одновременно с этим — опять же вопреки нормам русского языка — в отношении слова «Украина» (этимологически связанного с «окраиной») начинает использоваться пара предлогов «в» — «из» вместо привычных «на» — «с». При этом претензии предъявляются не только к русскому. Английское *Kiev*, в соответствии с современным украинским произношением (и

вопреки исконному названию города), начинают исправлять на *Kyiv*. Ответа — пусть и асимметричного — от Москвы не следует. Даже в украинское слово «Росія» наша беспечная, в отличие от эстонской, общественность не догадывается ввести дополнительную букву «с». Дальнейшие события развиваются стремительно. Возникают Молдова, Беларусь, Менск (он, правда, впоследствии куда-то исчез), Алматы и непроизносимый Кыргызстан.

На западном фронте без перемен. Жители британских островов упускают явную возможность образовать в русском языке слово «Ингленд», немцы — «Дойчланд», французы — «Франс». В порядке ответного жеста мы оставляем за ними *Siberia, Moskau, Russie* и еще кое-что. Иногда можно услышать: это старые государственные образования, у них нет комплексов, а потому и проблем с топонимикой не возникает. Это, пожалуй, правда. Но не вся правда.

Нужно иметь в виду, что стремление переименовывать — а ведь даже небольшое вносимое изменение является переименованием — появилось задолго до рождения постсоветских государств. Деятельность переименователей так же стара, как желание всякого нового явления обрести новое имя (выражаясь в духе М.Фуко, всякая *вещь* ищет свое *слово*). Это желание удесятеряется тогда, когда само явление еще неразличимо, когда новое имя и составляет его, явления, единственную возможность быть отмеченным.

Есть, однако же, и другая сторона дела: переименованное явление в определенной степени теряет свое прошлое, оно возникает как бы из ниоткуда. Переименование как отречение от прошлого вызывается, как правило, неудовлетворенностью этим прошлым. Шаг аисторический, но, согласитесь, понятный. Переименование является чем-то вроде получения нового паспорта — без неприятных штампов, следов кофе на страницах — жизнь с чистого листа. В ходе своего функционирования отдельные слова наматывают на себя столько отрицательных коннотаций, что от них хочется избавиться. Семиотика (наука о знаках) таких фокусов знает сколько угодно. Приведу пример. У кого-то возникает желание в Петербурге построить небоскреб и назвать его «Газпром-сити». Высота «Газпром-сити» (396 м) вызывает негодование у общественности. Вывод, казалось бы, один — от проекта нужно отказываться. Но строители башни идут другим путем: они отказываются от названия. «Газпром-сити» переименовывается в «Охта-центр». И хотя «Охта-центр» не стал ни метром ниже, он оказывается вне критики, потому что критиковали вроде как «Газпром-сити». Так, по крайней мере, это

виделось авторам данной идеи.

Петербургу за прошедшее столетие имя меняли трижды, и, кажется, это не прибавило ему счастья. Строго говоря, до конца его так и не переименовали, потому что для очень многих даже в советское время он оставался Питером. Точно так же за рубежом далеко не всегда произносили СССР, предпочитая этой аббревиатуре слово «Россия». Связь *вещи* и *слова* иногда крепче, чем это думают те, кто увлекается переименованиями.

Помню, как в начале девяностых я просил ныне покойного Александра Михайловича Панченко (он возглавлял тогда Топонимическую комиссию Петербурга), чтобы он переименовал ужасный ряд улиц петербургских новостроек — улицы Ударников, Наставников, Энтузиастов и т. д. Тогда мне казалось, что это один из тех редких случаев, когда переименование оправданно. Разумеется, и у Панченко не было иллюзий в том смысле, что, мол, так эти улицы назвал народ. «Я даже знаю человека, который эти названия придумывал, — сказал он мне тогда. — Сотрудница горисполкома, кандидат лженаук Лидия Ивановна З.». А переименовать отказался. Всякий должен носить данное ему имя, в этом есть свой особый смысл. Панченко не переименовал ни одной улицы: он лишь возвращал старые названия.

Я всё больше убеждаюсь в том, что сознательное отношение к языку предполагает консерватизм. Исторические катаклизмы не должны вести к катаклизмам языковым. Язык зачастую умнее своих носителей, и его сопротивление изменениям оказывается обычно оправданным. То, от чего посредством языка хотят отмежеваться, спустя время не кажется таким уж архаичным. На передний план выходит та самая связь с прошлым, которую прежде усиленно отрицали. Великий языческий город Рим стал великим христианским городом, не меняя имени. А ведь там пострадал апостол Петр: город мог бы стать, допустим, Петрополем. Не стал. Римляне проявили вкус и такт. Они понимали, что есть более изысканные способы утверждения нового.

Не нужно торопиться переименовывать свое и уж тем более не стоит поспешно принимать чужое. Интересно, что в немецком, за небольшими исключениями, последние два века топонимы не менялись — ни свои, ни чужие. Из городов, близких нам, Тбилиси остался Тифлисом, а Львов — Лембергом (так этот город назывался, находясь в составе Австро-Венгрии). Не изменяя названий, немцы следуют разумному, в сущности, принципу: факты вашей истории не являются фактами нашего языка.

Переименования касаются не только государственных

образований, городов и т. п. Переименованиям подвержены и этносы. Каждый народ имеет свое имя, но каждый народ имеет и обидные прозвища. Стоит заметить, что многие из используемых прозвищ по происхождению своему стилистически нейтральны и некогда служили не более чем названием народа. С течением времени определенный этноним табуируется и начинает считаться, как мы бы сейчас сказали, неполиткорректным. К этому, например, в русском языке сейчас близко слово «негр», в западных странах давно уже заменяемое на «чернокожий» или «афроамериканец». В немецком в настоящее время почти не говорят «цыган» (в словарях оно стало обозначаться как уничижительное): там используется слово «ром», отражающее самоназвание народа. И хотя у названных этнических групп с американцами и немцами свои счеты, проблема «правильного» наименования этноса является универсальной. Как с этим быть?

В пору моей жизни в Мюнхене у меня был сосед-американец. Чтобы приветствовать русского по-русски, американец нашел по-своему замечательное словосочетание, которое произносил каждое утро: «Добрый ужин!». «Добрый ужин!» — отвечал ему я. Мне не хотелось поправлять такого доброжелательного человека. Сфера межнациональных отношений чрезвычайно деликатна, и для поддержания добрососедских отношений в ней действительно допустимы какие-то уступки. Не знаю, стоит ли здесь заходить так далеко, как в описанном случае, но повышенное внимание необходимо.

Если то или иное наименование человека оскорбляет, им не следует пользоваться. Можно сколько угодно доказывать, что слово «малоросс» имеет вполне почтенное византийское происхождение (от греческого Μικρὰ Ρωσσία — Малая Россия в противоположность Μεγάλη Ρωσσία— Великая Россия), что в слове «малый» нет ничего обидного, но если собеседнику оно не нравится, лучше его называть украинцем.

Несмотря на желательность консерватизма в отношении к языку, сферу этнонимов (прежде всего, повторяю, в силу ее деликатности) целесообразно рассматривать в качестве частичного исключения — подобно области личных имен. Как известно, правильным произношением и написанием личного имени является то, которое предусмотрено его владельцем. С другой стороны, не стоит, наверное, торопиться и с популяризацией новых этнонимов. Ничто так не способствует созданию из старого слова табу, как активное введение нового слова. Иными словами: распространение нового «очень хорошего» слова автоматически приводит к образованию старого и «очень плохого». Тоже ведь есть о чем подумать.

Особенность нашей страны как государства многонационального состоит, среди прочего, и в том, что подданство и национальность у нас традиционно различаются. В этом мы, пожалуй, составляем исключение: в большинстве других стран одно с другим совпадает. Если живущий во Франции сенегалец захочет указать свою национальность, он, скорее всего, скажет, что является французом сенегальского происхождения. Всю советскую эпоху слово «русский» указывало лишь национальность. С распадом СССР для указания подданства или общегосударственной принадлежности явления было реанимировано старое слово «российский». Решение можно признать в целом удачным: гражданство в нем не поглощает национальность. Впрочем, ввиду того, что на Западе параллельного этнонима не появилось, это решение оказалось фактом внутрироссийского значения. К тому же выяснилось, что и внутри страны со словом «российский» правильно обращаться умеют не все. Так, место моей службы уже неоднократно называли Институтом российской литературы. Это преувеличение, мы занимаемся лишь русскими текстами. Предваряя дальнейшее изложение, добавлю: в последнее время они порядком испортились.

Высокая миссия невежества

Язык развивают недоучки. Фонетические перспективы во многом определяются лицами, не умеющими правильно поставить ударение. Новые значения слов образуют те, кому, как правило, не слишком хорошо известны значения существующие. Есть, скажем, в русском языке замечательное слово «пошлость». Словарями оно скупо определяется как «что-либо низкое, ничтожное в духовном отношении, неоригинальное, банальное» и обладает множеством обертонов (убожество, претензия на значимость, вульгарность и др.). Сила этого слова не только в обилии оттенков, но в перекличке их между собой, в одновременном их присутствии. О непереводимости слова «пошлость» в свое время писал В.В.Набоков, отмечая, что в английском языке его значение рассыпано по нескольким словам. Из большого количества оттенков слова современная речь (преимущественно — молодежная) почему-то всё чаще выбирает значение «непристойный». Кто-то употребил матерное слово, и его обвиняют в пошлости. Такое понимание обесценивает слово, делает его одномерным.

У развития языка немало движущих сил, но невежество — одна из основных. При таком подходе к делу ошибка приобретает

значительность, это уже и не ошибка как бы, а факт истории языка. В исторической перспективе такое явление выглядит вполне респектабельно, но с точки зрения современника изменения оно невыносимо.

Есть слова, изменение значения которых происходит постепенно. Движение это незаметно, оно устанавливается лишь путем скрупулезного сличения незначительных — из века в век — отклонений. Степень коллективного участия в изменениях здесь так очевидна, что говорить о «персональной ответственности» всерьез не приходится. Так, значением слова «опасный» в XI–XIV веках было «тщательный, внимательный, строгий». Передавая что-либо на хранение, предмет просили «сохранити опасно». Поскольку тщательность и внимательность нередко сочетались с ситуацией угрозы, неудивительно, что с течением времени у слова выработалось нынешнее его значение.

Но порой смещение значения происходит во вполне обозримый отрезок времени. Существует, скажем, глагол «довлеть». Из десяти опрошенных на улице девять наверняка скажут вам, что «довлеть» значит оказывать давление, причем не в прямом, физическом, а в переносном смысле. Да еще и предлог «над» с творительным падежом используют. Условно говоря: «Всю сознательную жизнь над *N* довлело чувство вины за неумение склонять существительные “дно” и “кочерга”». Здесь «довлеть» в известном смысле занимает нишу глагола «тяготить». А ведь совершенно напрасно занимает, потому что значение глагола «довлеть» — «быть достаточным» (ср.: «довольно»). Это старое и ныне переосмысленное слово известно, в частности, по знаменитой фразе из Нагорной проповеди Иисуса Христа «довлеет дневи злоба его» (Евангелие от Матфея, 6:34), что на современный язык переводится как «довольно для каждого дня своей заботы». Переосмысление началось в конце позапрошлого века и завершилось в веке прошлом. Путь, по которому развивалось новое значение, вполне прозрачен: глагол «довлеть», пользуясь внешним сходством, позаимствовал семантику глагола «давить».

Что интересно: переосмысленное «довлеть» — интеллигентское слово, в тепловозном депо его не услышишь. Это слово газет и телевидения, оно просто-таки завсегдатай биографических очерков и учебно-воспитательных программ. О чем это говорит? В первую очередь о том, что социальный статус носителей изменений достаточно высок. Ошибки, которые допускаются в том же тепловозном депо, другого рода, и у этих ошибок нет претензии стать нормой. Если они и попадают на страницы литературных произведений, то обычно лишь в

качестве экзотизмов.

Аналогичной была судьба глагола «будировать» (от франц. *bouder*), означавшего «проявлять недовольство, дуться». Отметившись в нескольких литературных текстах (М.Е.Салтыков-Щедрин, Л.Н.Толстой), слово это, казалось, исчезло навсегда. Похороны его, однако, оказались преждевременными. На манер покойника из мистического триллера, оно воспользовалось сходством с глаголом «будить» и обрело вторую жизнь в значении «побуждать к чему-либо, поднимать вопрос». С мутировавшим словом боролся еще В.И. Ленин, но в российских политических кругах оно сейчас в ходу, как никогда. С одной стороны, такое обстоятельство не делает этим кругам чести, с другой — позволяет предполагать, что Ленина наша политическая элита больше не читает.

К изменению значения слова порой ведет наличие близкого родственника этого слова. Развивая метафору, такие словесные пары уподоблю близнецам, чье сходство, несмотря на ряд общих черт, всё еще кажется их родителям недостаточным. Обоим покупают одинаковую одежду, обоих стригут «под полубокс». Сосед (найдите десять различий) обнаруживает было у одного из детей лишнюю родинку, но мать дорисовывает второму такую же: с последствиями работает психиатр. Драма в языковой сфере не столь ощутима, но это всё же драма, а родителями слов, потерявших свое лицо, становимся мы сами.

Слова «откровение» и «откровенность» по происхождению родственны, но их внешнее сходство еще не говорит о том, что они имеют сходное содержание. Обратимся к Далю. «Откровение» — это «просветление свыше, открытие истин, до коих человек умом своим не доходит». «Откровенность» же — это «прямота, чистосердечие и прямодушие, задушевность, любовь к истине».

«Откровение», время от времени использовавшееся литературой и в переносном значении, восприняло эти опыты всерьез и почувствовало себя «откровенностью». Такое значение «откровения» современные словари фиксируют в дополнительно введенном пункте: «откровенное признание». Как ни странно, именно это факультативное значение имеет сейчас все шансы стать основным. Более того, оно развивается во вполне определенном направлении. Нынешний и, выражаясь современным языком, гламурный смысл «откровения» не только, подобно сорняку, подавил смысл исконный и высокий. Попутно он лишил работы слово «откровенности», которое и использовалось прежде тогда, когда речь шла, скажем, о пикантном в рассказах политиков и кинозвезд. Недаром, уподобляясь в значении слову «откровенности», слово

«откровения» переняло даже его множественное число.

Подобное же смешение наблюдаем в паре «реальность» и «реалия» (и то и другое восходят к лат. *realis* — вещественный). «Реальность» можно определить как «то, что объективно существует, действительность», а «реалию» — как «предмет, вещь». В последние годы «реалия» всё чаще выдает себя за «реальность», и это никого не беспокоит.

Не удивлюсь, если понимание «орального секса» как «орать, занимаясь сексом» из области анекдотов шагнет в языковую повседневность: с точки зрения языка здесь нет ничего противоестественного. Дело в том, что язык — логическая структура лишь отчасти. В своем развитии он во многом непредсказуем и хаотичен, а потому, к сожалению (или к счастью?), наше влияние на него довольно ограниченно. По законам логики слово «будировать» в его нынешнем значении возникнуть не могло, но оно возникло по *закону аналогии*, который в развитии языка нередко побеждает логику. А заодно и образование.

Езда в незнаемое

В общей массе вошедшего в наш язык особое место занимают явления, некогда ушедшие в тень, а теперь открытые вновь. Речь здесь в первую очередь может идти о лексике, которую можно условно определить как церковную. Во внимании к устаревшим, но выразительным словам, разумеется, нет ничего плохого. Как раз напротив: выход того или иного слова из активного оборота в большинстве случаев делает язык беднее, и тот, кто эти слова возвращает к жизни, язык, соответственно, обогащает. Так, в поисках «нестертого» слова к древнерусской литературе обращался Н.С.Лесков. Достоверно известно, что А.И.Солженицын просил Д.С.Лихачева порекомендовать ему те древнерусские тексты, которые помогли бы обогатить язык его, Солженицына, произведений.

Если взять сферу менее высокую, то использование церковнославянизмов в повседневности в большинстве случаев также может приветствоваться. Умеренно употребляемые *ничтоже сумняшеся, со товарищи* и *не мудрствуя лукаво* (это выражение отчего-то полюбилось футбольным комментаторам) речь рядового гражданина способны только украсить. Сложности начинаются там, где отваживаются употреблять выражения, не очень понимая их значение, структуру или происхождение. Подобное словоупотребление стало *знамением* времени, как сказали бы сейчас, ставя на втором слоге ошибочное, увы,

ударение.

Так, в публицистической речи стало нормой говорить о «власть предержащих». Для человека неискушенного повода для сомнений вроде бы нет: речь идет о тех, кто власть держит или, на худой конец, придерживает. Такова уж ее, власти, особенность: если ее не придерживать, она уходит. Обратимся, однако же, к церковнославянскому переводу Послания апостола Павла к римлянам (13:1), послужившему источником данного словосочетания. Там говорится: «Всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется». Не вдаваясь в подробности соотношения церковнославянского текста с его греческим оригиналом (там есть свои особенности), скажу лишь, что «власти предержащие» на современный русский язык переводится как «высшие власти». И никто ничего не придерживает.

Не меньшее распространение получило выражение «страсти по…». Редкая газета сейчас обходится без «страстей» по ЖКХ, реформе школьного образования, системе ПРО — этот ряд бесконечен. Немалый заряд пошлости выражение несет уже хотя бы потому, что принадлежит к категории самых затертых журналистских штампов. Усугубляется же дело тем, что лица, его использующие, не вполне представляют, о чем идет речь. Слово «страсть» в русском языке многозначно. Оно может обозначать «сильное чувство», «ужас» и даже «очень». Важным значением слова является «страдание» (с ним оно этимологически и связано). Словосочетание «страсти Христовы» обозначает предсмертные муки Спасителя. Именно с этим значением слова «страсть» и связано рассматриваемое выражение. Сама модель «страсти по…» в общественном сознании закрепилась, следует полагать, благодаря прежде всего «Страстям по Матфею» и «Страстям по Иоанну» Баха, предназначенным для исполнения в Страстную пятницу. Названия эти означают «описание предсмертных страданий Иисуса Христа по евангелисту Матфею (Иоанну)». В нашей публицистической речи предлог «по» в данной конструкции был переосмыслен (мы ведь помним, *кто* развивает язык) и стал указывать не на источник информации, а на предмет описываемых в очередном репортаже «страстей».

Существует, наконец, группа «церковных» слов, представляющая для постатеистической общественности особую сложность. Если ставить правильное ударение в имени Патриарха Алексия II наши электронные СМИ уже выучились, то во всем, что касается богослужебной лексики, прогресс еще не столь заметен. Речь здесь не о том, что всем необходимо досконально знать названия служб или предметов церковной утвари, но уж если кто-то решается их называть, желательно делать это правильно. Тому,

кто по телевидению регулярно говорит о «заупокойном молебне», есть прямой смысл заглянуть в словарь. Например, в словарь В.И.Даля, определяющий молебен как «короткое богослужение в виде благодарности или просьбы». Там же, как это обычно бывает у Даля, приводится и красноречивая пословица, свидетельствующая, что к заупокойным службам молебен никак не относится: «По молебну и плата, а по деньгам молебен, по покойнику канун».

Обсценное и необсценное

Термином «обсценный» (от лат. *obscenus* — непристойный) в науке обозначается лексика «ненормативная» («бранная», «нецензурная»). Если у ее носителей окажется случай с термином ознакомиться, они, я думаю, в претензии не будут. Независимо от латинской подоплеки дела, и в русском ненормативном контексте он достаточно выразителен. Может быть, этим и объясняется частота использования исследователями этого довольно нового обозначения.

С середины восьмидесятых полноводной рекой обсценная лексика потекла на страницы периодических изданий и художественной, в большей или меньшей степени, литературы. Даже на радио и телевидении — в лучшем случае прикрываясь неубедительным пиканьем — эта лексика стала вполне своей. Сфера непристойного, взятая в широком смысле, была, кажется, первым, что отозвалось на призыв к переменам.

Использовались ли матерные слова до перестройки? Свидетельствую: да. Знала ли доперестроечная общественность о наличии у мужчин и женщин половых органов? Ответ будет опять-таки положительным. Не только знала, но и вовсю ими пользовалась. Когда на книжных прилавках появились заграничные руководства по сексу, выяснилось, что отставание СССР — по крайней мере, на этом участке — преувеличено, что знание, достигнутое эмпирическим путем, порой ценнее сухой теории. Чем же, спрашивается, был вызван ажиотаж?

Возможностью нарушения табу. В авторитарных режимах, каким, несомненно, был Советский Союз, таких возможностей существовало немного, и располагались они в приватной сфере. Справедливости ради замечу, что и до СССР в нашей культуре дело с табу (табу в России больше, чем табу) обстояло особым образом. Такой степени табуированности бранной лексики, как у нас, я не замечал ни в одной из западных культур — так же, впрочем, как и постоянной готовности ее использовать. Отсюда, вероятно, следует вывод, что уровень запрета прямо

пропорционален стремлению его нарушать. (Европейские ругательства по нашим меркам безобидны. Немецкое восклицание «*Scheiâe*!» не следует буквально переводить как «Дерьмо!». Контекстуальный эквивалент здесь, как правило, — «Черт!».)

Характерно, что активное использование обсценной лексики в советском быту никак не отражалось ни в книгах, ни в СМИ. Вместо ожидаемого «П…уй отсюда!» грузчик литературы соцреализма произносил пугающее «Прочь!», а если уж артисту Георгию Менглету позволялось сказать: «Колись!» («Следствие ведут знатоки»), то выговаривал он это, как в Малом театре, с твердым «с». Итак, в речи устной и в той, что публиковалась, двойные стандарты были налицо: в первой табу нарушалось постоянно, во второй — никогда. Ситуация становилась революционной.

В ходе демократических преобразований речь непечатная свои права отстояла: она стала печатной. Почувствовав ветер перемен, деятели культуры дружно бросились нарушать табу, и это всё испортило. Альтернативное не должно становиться всеобщим: это его смерть. Человек, приходящий на званый ужин в футболке, выглядит эксцентрично. Несколько таких человек выглядят смешно.

Когда в конце семидесятых, не жалея нецензурных слов, Э.Лимонов в деталях описывал свои сексуальные опыты, это было любопытно. Тогда он был один такой, Эдичка. По крайней мере, один из немногих. В последнее же двадцатилетие, когда подобные штуки не демонстрировал только ленивый, было даже не смешно. В какой-то момент табу, похоже, исчерпались. На всех нарушителей их просто не хватило. Обсценная лексика напоминает теперь голого в бане, потому что вызывает всё, кроме удивления.

Если исходить из теории маятника, то пик деструктивного отношения к письму (боязнь «гладкого» текста) мы, кажется, прошли, и можно уже частично расслабиться. Вернуться в традиционный лексический регистр или, скажем, использовать законченные фразы. В пику литературе междометий я в свое время даже издал один текст, стилизованный под речь отличника-гимназиста, да еще и немца к тому же. Своего рода тоска по упорядоченности фразы. Ну, и жизни, конечно. Не надо бояться «литературной» речи — вот что я хочу сказать.

Что касается речи разговорной, то, разумеется, изменилась и она. А куда ей было деваться, когда на дворе такое? Эта речь отражала изменения, произошедшие в структуре общества, и ситуация, по большому счету, не была уникальной. Что-то

подобное наблюдалось в первые годы после октябрьского переворота. «Кто был никем» пришел со своим словарным запасом и стал активно его распространять. Специфика девяностых годов состояла в том, что традиционная для верхов партоидная лексика смешивалась с откровенной «феней», приоткрывая завесу над кузницей кадров российской власти. Особенно этим отличалась власть законодательная.

Мата в устной речи ощутимо больше не стало — просто потому, что его и до этого было много. Больше стало всяких криминальных словечек, что опять-таки отражало общее положение вещей. Было несколько странно, когда вполне, в общем, домашние мальчики коротко стриглись и уходили в несвойственные им лексические пласты. И эта лексика, и свирепое выражение лица были защитной реакцией. Своего рода камуфляжной формой, которая, кстати, пользовалась тогда большой популярностью.

Телевидение и радио

На социально-политические сдвиги в России наложился технический прогресс. В русле нашей темы это означает, что новые факты русской речи распространяются мгновенно. В годы первых русских революций такого не было. Сказал известный человек по телевизору: «переспектива», и многим из услышавших его таким слово и запомнится. Можно возразить, что телевизор был и при советской власти. Да, был. Но — другой. Был телевизор с Игорем Кирилловым, чьих орфоэпических высот, я думаю, никто из нас не достигнет. В этом телевизоре у неправильностей не было никаких «переспектив».

Дело даже не в нынешнем обилии прямого эфира, ограничивающего контроль за правильностью речи. За исключением Л.И.Брежнева, тогда и в прямом эфире как-то ухитрялись говорить правильно — учили они свои тексты, что ли? Отношение к выходу в эфир было, безусловно, другим. Попадая непреднамеренно на ведущих многочисленных шоу, существ по преимуществу бессмысленных, осознаешь это в полной мере.

Да, с прямым эфиром появилось больше искренности. Но эта искренность не всегда соизмерима с теми потерями, которые мы понесли в области культуры речи. Я не пурист и с удовольствием слушал выступления, скажем, В.И.Шандыбина. Мои претензии, скорее, к ведущим, корреспондентам, а главное — к режиссерам и редакторам программ. Речь Шандыбина по-своему прекрасна, такого рода людей и не нужно исправлять. Но отчего же нельзя

запретить ведущему говорить «ас*в*альт» («прец*е*дент», «инци*и*дент»)?

Разумеется, телевидение во многом является заложником тех, кого на экранах помещают. Речь здесь идет прежде всего о политиках. Именно они без декретов и распоряжений нередко диктуют орфоэпические нормы — самим фактом своего произношения. Как ни странно, здесь мы имеем известный прогресс. Дума наша по составу стала менее экзотической, что повлекло за собой немедленные речевые последствия. Выступления депутатов теперь, возможно, менее ярки, но законам русского языка соответствуют в значительно большей степени. Об исполнительной власти не приходится и говорить. Представляя преимущественно петербургский языковой ареал, эта ветвь власти — впервые, кажется, с 1917-го — говорит по-русски без диалектных (или иноязычных, если иметь в виду И.В.Сталина) особенностей. И когда на заседаниях правительства годы начиная с 2001 станут называть правильно («две тысячи первый» вместо «двух тысяч первый»), можно будет говорить о том, что речевая ситуация в верхах близка к благополучной.

Говоря о том, что транслируют телевидение и радио, можно вспомнить и о песенном творчестве наших соотечественников. Зарубежные песни на русский язык мало влияют, а вот наши, «домодельные», — в высшей степени. Освободившись от препон и рогаток цензуры, они не вызывают ничего, кроме ошеломления. Нет смысла говорить о худших, но даже в лучших своих образцах песенные тексты способны вводить слушателя в заблуждение. Так, выходя за пределы повседневной лексики, сложности испытывает и вполне изысканный Б.Б.Гребенщиков: «Как Усть-Илимский ГЭС, / Ты встанешь меж колдобин / И станешь мне в могильную дыру / Просовывать елей» (песня «Критику»). «Усть-Илимский ГЭС» — «она», потому что «гидроэлектростанция». Да и елей здесь, похоже, спутан с ладаном, который можно «просовывать». А вот елей — только лить. На церковнославянской лексике Гребенщиков (а вслед за ним, боюсь, и множество его почитателей) спотыкается не раз. На память приходит, среди прочего, строка «светлой татью в нощи» (песня «Навигатор»). Церковнославянское слово «тать» («вор»), в отличие, скажем, от «Усть-Илимской ГЭС», — мужского рода. На случай переработки текста указываю правильный вариант: «светлым татем в нощи». Количество слогов остается прежним. Смысл, кажется, тоже.

В разговоре о влиянии радио и телевидения на нашу речь нужно хотя бы кратко упомянуть еще об одном феномене, которого также не было в советское время, — о рекламе. Задуманная как крючок, способный зацепиться в дебрях

подсознания, реклама оказывает на нас большее влияние, чем мы, возможно, предполагаем. То, что ее заказчики пытаются заставить нас покупать определенную (ими) вещь, еще полбеды. Другая неприятность состоит в том, что они замусоривают наше сознание массой идиоматических образований. «Где был? — Пиво пил». «Мечты сбываются». «Ждем-с».

Прежние идиомы отражали какие-то жизненные ситуации и в этом смысле были типическими. Образования, возникшие сейчас, — фантомы. Они симулируют реальность, но отражают лишь то, что существует в мозгах — часто весьма несовершенных — разработчиков рекламы. Новая жевательная резинка «нейтрализует кислотно-щелочной баланс во рту» — это не я придумал. Справиться с этими поделками труднее, чем с компьютерным вирусом. Да и функции у них, если разобраться, сходные. Использованное сравнение дает повод перейти к самому, пожалуй, новому фактору влияния на язык — компьютеру.

Компьютер

В конце девяностых в Петербург приехал Умберто Эко и прочел доклад «От Интернета к Гутенбергу». Суть доклада сводилась к тому, что посредством Интернета компьютер вернул нас к письменному (печатному) тексту, отобранному было у нас текстом произносимым — будь то телефон (вместо переписки) или телевизор (вместо газет). Личность докладчика и парадоксальность заглавия не оставляли тогда сомнений в том, что всё сказанное им — истина. Я и сейчас думаю, что по большому счету Эко был прав. Вместе с тем, будучи в то время знаком с Гутенбергом в гораздо большей степени, чем с Интернетом, я не мог разглядеть некоторых опасностей последнего. Не исключаю, что тогда их не видел и сам Эко.

Одна из опасностей связана с тем, что граница между речью устной и письменной размывается. Можно было бы чувствовать себя относительно спокойно, если бы при записи устная речь «подтягивалась», становилась богаче и разнообразнее. Но получается-то как раз противоположное: примитивизируется письменная речь. Прелесть неофициального общения всем понятна, и никто не предлагает переписываться гекзаметром. Никакие сверхъестественные меры не нужны. Достаточно помнить о существовании, допустим, придаточных предложений. Уже одно это не позволяет речи быть убогой. Посмотрите на язык чата. Имея формальное отношение к письменной речи, он сплошь состоит из назывных предложений и междометий. И у многих

людей вырабатывается привычка писать именно так. Они переносят ее на письменную речь вообще.

Компьютер — область свободы. Свободы от цензуры, но порой — увы — и от грамматических правил. Разумеется, проблема эта не столько компьютерная, сколько школьная, но сам факт следует держать в уме: никогда прежде перед нашими глазами не проходило такое количество безграмотных текстов. Ошибки, существовавшие раньше лишь в частной переписке, стали теперь общедоступны. Они усваиваются и — тиражируются.

По поводу переписки: откуда взялась запятая после традиционной для писем подписи «С уважением»? «С уважением, Иванов». Лет десять назад русская эпистолярия вполне без этой запятой обходилась. Предполагаю, что и здесь мы имеем дело с компьютерным влиянием, точнее, с влиянием переводчика компьютерной почтовой программы. Это самое «С уважением,» там присутствует в качестве предлагаемой вставки-подписи и является переводом англоязычного эквивалента *(“Best wishes”?)*, сопровождаемого обычно запятой. Наше население, подчас отказывающее себе даже в самых необходимых запятых, в эту, ничем не мотивированную, вцепилось мертвой хваткой. Сначала я запятой не ставил. Потом (скрепя сердце) начал использовать ее в письмах к тем, кому, как я знал, она была бы приятна. Если решу ставить ее во всех письмах — а запятая сейчас уже близка к норме, — буду утешаться тем, что участвовал в развитии русского языка.

Русский как иностранный

Перехожу к самой трепетной теме нашего разговора — влиянию на русский язык со стороны других языков. Как к такому влиянию относиться? Как относиться, в частности, к заимствованиям? Думаю, так же, как к потреблению вообще: считать его допустимым до тех пор, пока оно идет впрок. Если возникает легкое несварение, от экзотических фруктов лучше отказаться. Предваряя дальнейшее изложение, замечу: о непереваривании нашим языком заимствований говорить пока рано, но некоторая тяжесть в желудке уже ощущается. Насколько это опасно?

Прежде всего следует отдавать себе отчет в том, что иноязычное влияние — один из главных источников развития любого языка. Если бы не было такого влияния, боюсь, что не удалось бы написать даже предыдущей фразы: слово «развитие» в его отвлеченном значении является калькой с немецкого *Entwicklung*, которое, в свою очередь, повторяет латинское *evolutio*.

В разное время русский язык испытывал сильнейшее влияние греческого, голландского, французского, немецкого и многих других языков — и ничего, остался русским. Более того, многие заимствования стали уже настолько «своими», что помыслить без них современную речь невозможно.

Не многие носители нашего языка подозревают, что, произнося «кровать» или «огурец», они в известном смысле переходят на греческий. В высшей степени русским кажется слово «ярмарка», восходящее к средневерхненемецкому *jarmarket* («ежегодный рынок»). С точки зрения освоения заимствований примечательна история слова «зонт». Восходит оно к голландскому *zondek* («защита от солнца»), из которого в русском образовалось слово «зонтик». Это образование немедленно стало восприниматься как уменьшительное, что и привело к возникновению «полноценного» слова «зонт». Это примеры, так сказать, положительные. Но есть ведь и явления другого свойства.

Есть нескончаемый поток слов, нежданных и ненужных, обрушившийся в последнее время на нашу речь. Эти слова входят в нее с безразличием оккупационной армии — спокойной, уверенной в себе и не склонной вдаваться ни в какие туземные детали. Отправляя в отставку слова «из местных», на их должности слова-пришельцы назначают себя. Так, слово «эксклюзивный» быстро разделалось со словом «исключительный», «дайджест» — с «обзором», «спонсор» — с «благотворителем» («меценатом»), «паркинг» — со «стоянкой», а «скинхеды» — с «бритоголовыми».

К нашествию англицизмов (американизмов) в последнее время нежданно-негаданно решило присоединиться шведское слово: «омбудсмен» (швед. *ombudsman* — представитель чьих-либо интересов). Слово громоздкое («будка»?), труднопроизносимое и русское ухо, мягко говоря, не ласкает. Догадываюсь, что всякий раз произносить «уполномоченный по правам человека» утомительно. А почему не сказать: «правозащитник»? У «правозащитника», конечно, есть свои смысловые обертоны («неформальность», например) — что ж, тем выше будут требования, предъявляемые к должности.

Объясняя нашествие иностранных слов, говорят иногда, что в жизни возникло множество явлений, для которых попросту не было обозначений. На деле, однако, это не совсем так. Даже для компьютера у нас существовала позабытая ныне аббревиатура — ЭВМ (не утверждаю, что она как-то уж особенно привлекательна, но ведь — существовала!). Так вот, пользуясь ЭВМ, получил случайную выборку заимствований в разнообразных сферах: байкер, баннер, блокбастер, бодибилдинг, бойфренд, брокер,

геймер, дилер, драйв, имиджмейкер, киллер, коспонсор, лифтинг, логистика, маркетинг, мейнстрим, ноутбук, онлайн, паб, пилинг, пирсинг, прайс-лист, промоутер, ремейк, рестлинг, роуминг, спичрайтер, спрей, стайлинг, таунхаус, тинейджер, ток-шоу, топ-модель, триммер, фаер, фитнес, фристайл, хендаут, чат. Я думаю, любой непредвзятый человек согласится, что для многих слов из приведенного списка (повторяю — случайного!) найдутся русские эквиваленты. В качестве небольшой умственной разминки предлагаю найти их прямо сейчас. Почему такой разминкой пренебрегают те, кто вносит эти слова в нашу жизнь?

Приведенный список слишком велик для подробного комментирования в статье, хотя на самом деле он — капля в заливающем нас море заимствований. Скольжу по списку взглядом. Ну, скажем, *байкер*. Есть русский эквивалент? Безусловно. Войдя, однако же, в Интернет, открываю для себя, что байкерство — это не просто езда на мотоцикле (реже — велосипеде), а идеология. Предположим, эта идеология настолько объемна, что освоенного русским «мотоциклиста» ей уже недостаточно. Есть выход: сделайте слово «мотоциклист» многозначным и ездите себе на здоровье. Факт заимствования исследователи порой объясняют «необходимостью специализации понятий». Но ведь эта самая специализация может быть достигнута и через полисемию. «Мотоциклист в первом значении» — это просто мотоциклист, а «мотоциклист во втором значении» — мотоциклист с идеологией. Ведь в английском, откуда мы всё заимствуем, чаще всего именно так и происходит, и самый распижонский *diver* делит там свое обозначение с обычным ныряльщиком.

Далее — *бойфренд*. Насколько симпатичнее словечко «приятель» или «дружок». Заметьте, в качестве эквивалента «бойфренду» эти русские слова используются не в основных своих значениях. И «приятель», и «дружок» — это для гурманов, для тех, кто любит пройтись по периферии значений, а стало быть, «для тех, кто понимает». «Бойфренд» — безликое, неживое слово. Клавиша электрооргана, издающая один и тот же звук. А «дружок» («подружка») — нота для скрипки, у которой нет деления на лады, здесь поможет лишь абсолютный слух. Да, «специализация» увеличивает количество слов, но уменьшает их качество.

Киллер. Неоднократно и справедливо писали, что, в отличие от пудового «убийца», это слово — облегченное. Оно лишено осуждения (профессия такая).

Загадочное «*лифтинг*» прежде проходило как «подтяжка кожи».

Пилинг.
Пирсинг.
Пушкинг.

Нельзя сказать, что русские корни слов на биологическом уровне лучше английских. Что произнесение их проще для губ, полезнее для горла. Но за многие сотни лет у русского языка выработалась своя мелодика, свои сочетания звуков, строй, стать, и с этим следует считаться. Применительно к нашей теме это значит, что, прежде чем вводить чужеродное слово, нужно десять раз подумать о его необходимости. Даже если русского наименования действительно нет. Разве это аргумент? Ведь когда-то не было и наименования английского.

Интересно, что у некоторых слов одним заимствованием дело не кончается. Так, слова «амбиция», «амбициозный» (от лат. *ambitio* — тщеславие), в свое время пришедшие к нам по французско-польским каналам, еще недавно имели ощутимый негативный оттенок. Но если «амбиция» осталась в пределах прежнего значения, то «амбициозный» под влиянием своего английского родственника окраску сменил. «Тщеславие» в этом слове обернулось «честолюбием», и иметь «амбициозные планы» теперь очень даже почетно. Изменение с минуса на плюс здесь произошло так быстро, что люди старой закалки такого рода похвалу всерьез считают издевательством.

Сочтены дни и прежнего значения слова «шокировать», соответствовавшего французскому *choquer* — «вызывать чувство неловкости, смущать нарушением общепринятых норм». В одном из репортажей я услышал, что английская королева «была глубоко шокирована» какой-то железнодорожной аварией. Это, конечно же, *«was deeply shocked»*, но, если бы Елизавета Вторая говорила по-русски, она бы «глубоко шокирована» не произнесла. «Я была потрясена» — вот как сказала бы королева. Не принадлежа ко двору ее величества, рискну предположить, что версию репортажа она использовала бы в случае, скажем, отсутствия у Гордона Брауна носового платка. Или пуговицы на ответственном месте. Но не тогда, когда речь идет о десятках человеческих жизней. Такие подарки наш язык нередко получает от плохих переводчиков. Не в том смысле плохих, что они не владеют английским языком, а в том, что не знают своего собственного.

Есть, наконец, вполне русские слова, приобретшие под иноязычным воздействием не свойственное им прежде значение. Таков, например, «вызов», ставший семантическим клоном английского *“challenge”*. Еще недавно, перечисляя значения слова «вызов», словари говорили о «действии по глаголу вызывать», о

«требовании явиться куда-либо» и о «протесте, готовности к борьбе». Теперь же, чуть ли не ежедневно слыша о «новых вызовах», «вызовах времени», мы мало-помалу понимаем, что речь идет о неких непростых задачах, которые предстоит решать.

Почему сейчас так много заимствованных слов? Потому что в нашей стране так хорошо знают иностранные языки? Совершенно очевидно, что причина не в этом. Она, скорее, в противоположном. Иностранные слова нередко любят как раз те, кто других языков не знает. Используя заимствования, они словно намекают на то, что и сами некоторым образом причастны к иноязычной сфере. В сознании этих людей заимствованная лексика как бы компенсирует их незнание. Своего рода иностранный язык для бедных.

Сейчас, слава Богу, наша граница преодолима в обе стороны, и общение с другими культурами стало повседневностью. Это огромное благо, но в то же время и искушение. В Германии я имел возможность наблюдать нашу тамошнюю — весьма неоднородную — эмиграцию. Старики, покинувшие Россию десятки лет назад, говорили на изысканном русском языке, в то время как представители последней волны испытывали в отношении родной речи очевидные трудности. Главным богатством, которое этим старикам удалось в свое время вывезти, была русская речь. В отличие от нашей экономической эмиграции, вывозившей уже совсем другие ценности. Было забавно слышать, как провинциального вида тетки произносили «реновировать» вместо («как это будет по-русски?») «ремонтировать» и жеманно извинялись за избыток в себе иностранного. Эти люди говорили на невероятном сленге, смешавшем разноязычные корни и флексии: забу2хать билет (от нем. *buchen* — заказывать). Они не так карикатурны, как это может показаться на первый взгляд. В каком-то смысле эта публика — уменьшенная модель нас самих, так же окруженных иноязычной стихией, так же барахтающихся в ней без особого желания выбраться на сушу. По словам поэта:

> Другой, не выучась так грамоте, как должно,
> По-русски, думает, всего сказать не можно,
> И, взяв пригоршни слов чужих, сплетает речь
> Языком собственным, достойну только сжечь.

(А.П.Сумароков. «Две эпистолы». 1748-й год: проблема, как видим, не нова.)

Говоря о нашей страсти к заимствованиям, нельзя не

упомянуть еще один важный фактор: наш комплекс неполноценности. Звучит резковато, но по сути ведь правильно, и язык — беспристрастный тому свидетель. Если мы хотим, чтобы вещь (явление) «впечатляла», непременно именуем ее на английский манер. Вы можете себе представить такую же русификацию английского? Получается, что в мире мы до сих пор чувствуем себя провинциалами. Наши претенциозные названия, призванные указать на сходство с нездешними образцами, на деле обозначают лишь одно: вторичность. Стремление казаться «на рубль дороже» выглядит довольно глупо. Зачем? Разве та культура, которую мы создали, не позволяет нам быть самодостаточными?

Опасение вызывают не иностранные слова сами по себе — их в нашей речи сколько угодно. И это нормально. Опасение вызывают необоснованность и неумеренность. Нужна разумная пропорция между лексикой русской (или русским языком освоенной, что одно и то же) и заимствованной. Иными словами, прежде, чем обратиться к языку чужому, следует хорошенько взвесить возможности своего.

Впрочем, следуя известному литературному персонажу, прежде всего необходимо сохранять спокойствие. Мы — современники процесса, и кое-какие пропорции для нас смещены. Кое-что мы можем преувеличивать, забывая, что всё уже в истории когда-то было. Каждый народ переживал периоды сильнейших чужеродных влияний. Эти периоды сменялись эпохами тщательной переработки полученного, а затем — периодами иных влияний, в том числе и собственных влияний на других. В России можно вспомнить эпоху галломании, когда вся наша знать говорила по-французски. Римляне, даже превзойдя греков по силе и богатству, продолжали видеть в них образец. И предсмертное обращение Цезаря к Бруту прозвучало не на латыни. Согласно преданию, знаменитые слова были сказаны по-гречески (дословно: «И ты, дитя?»). Именно так следовало говорить в ответственных случаях.

Да, мы не первые, кто в подобное положение попадает. Но мы и не единственные. В той или иной степени те же сложности сейчас испытывает большинство культур. Беспрецедентное влияние английского языка отражает цивилизационное (назвать его культурным было бы преувеличением) доминирование США в мире. Не исключаю, что с прекращением этого доминирования (а процесс, как когда-то говорили, пошел) распространившиеся американизмы будут видеться нашим внукам милой подробностью — чем-то вроде нынешних галлицизмов в русском. Существует и встречная тенденция: радикальное изменение

общественного сознания в России, идущее бок о бок с экономическим подъемом. Полагаю, что постепенное избавление страны от комплексов также несколько собьет волну заимствований. Это факторы объективные. К субъективным относимся мы с вами. И мы способны влиять на язык — уже тем хотя бы, что правильно говорим и пишем.

Выражаться надо правильно. Это хорошо понимали в Древней Руси, когда известного книжника Максима Грека отдали под суд за использование в отношении Бога перфекта, времени завершенного. Эпоха сейчас менее жесткая, но это еще не повод расслабляться. Следует помнить, что сохранение нашей речи — это во многом сохранение нас самих. Трудности, испытываемые русским языком, — это наши трудности. Потому что на этом языке мы говорим.

Нужна ли языку защита?

На вопрос, вынесенный в заглавие, отвечу сразу: нужна. Такой ответ порождает по меньшей мере еще два вопроса: защита от чего и — какая именно? Долгое время считалось хорошим тоном говорить о языке как о явлении стихийном, о саморегулирующейся системе, вмешательство в которую бесполезно. Уж так они, стихии, устроены, что не допускают никаких вмешательств. Подобного рода высказывания характеризовали их авторов как людей либеральных и (что в данном случае важнее) знающих историю предмета. Ведь язык — это действительно саморегулирующаяся система. Как саморегулирующаяся система и тропические леса, для спасения которых, однако же, сейчас начали предпринимать самые активные меры. Сложность состоит в том, что таковыми эти системы являются лишь до тех пор, пока имеют возможность, что называется, саморегулироваться. Сегодня у них этой возможности нет.

Человечество не поспевает за своими открытиями. Технический прогресс не сопровождается, увы, ни нравственным прогрессом, ни сколько-нибудь заметным увеличением того, что в повседневности именуется здравым смыслом. Это сложная философская проблема, в которой для нас существенно одно: условия функционирования языка сейчас совсем не те, что были сто и даже пятьдесят лет назад. Любую прихоть (не говорю уже об ошибках) говорящих или пишущих современные технические средства мгновенно превращают в достояние миллионов.

Кому, казалось бы, дело до того, что специалист по подводному плаванию А.Макаревич называет погружающихся дайверами? А ведь есть дело: речь телеведущего транслируется на всю страну. Воздействие ТВ таково, что уже через несколько месяцев вещания Макаревича «дайвер» отправил на дно всех местных «ныряльщиков», «водолазов», «подводников» и «аквалангистов». Любопытно, что в английском «дайвер» делит свои функции с обычным «ныряльщиком».

Источником особой грамматической опасности стал с недавних пор Интернет. Дело здесь не только в тиражировании непреднамеренных ошибок. Нередко речь искажается намеренно, это стало стало своего рода шиком. Если бы подобным образом развлекались сотрудники Института русского языка, это можно было бы считать удачной шуткой, но писать так имеют обыкновение совсем другие лица. К сожалению, за классическими «интернетизмами» («превед, кросавчег») стоит не пресыщенность

гурмана, а элементарная безграмотность. Не сомневаюсь, какая-то часть пользователей Интернета искренне полагает, что приведенное приветствие именно так и следует писать. Подавляющее же большинство обращается к грамматическому юродству от неуверенности. Не будучи способными брать элементарную планку грамотности, они предпочитают упразднить ее вовсе. Так, бесхвостая лиса из известной сказки убеждала окружающих, что жить без хвоста гораздо лучше.

Разумеется, грамматика во многом — условность, и неправильно написанное слово не может рассматриваться как деяние криминальное. Подобным же образом правильная речь сама по себе еще не свидетельство высоких нравственных качеств ее носителя. Но она — несомненный знак принадлежности его к определенному культурному и социальному уровню, тот экзамен, который каждый из нас сдает ежеминутно. Маркирующая роль грамматики и орфоэпии исторически очень важна.

Понятно, что писать и говорить грамотно все не могут. Да это и не нужно. Более того, для нормального функционирования системы (любой системы) даже необходимо, чтобы определенные ее элементы не вполне ей соответствовали. Людей, привносящих эти элементы в язык, довольно много: новые значения слов нередко образуют те, кто не вполне точно понимает значения актуальные. Что-то подобное можно сказать и об иноязычных заимствованиях, которые также являются одним из существенных источников обогащения языка. Живой язык не может не заимствовать. В чем же тогда состоит проблема? В мере. Важно, чтобы количество новых элементов не превышало критической точки, чтобы они не подавили элементы системообразующие. Чтобы лодка, проще говоря, не перевернулась.

Ни у кого, думаю, не вызовет возражений мнение, что любая область — будь то финансы, строительство, здравоохранение или спорт — должна курироваться специалистом. Странным образом в этом ряду наш язык оказался исключением. Его обогащением занимаются соответственно финансисты, строители, врачи и спортсмены. Вряд ли сейчас можно найти какую-то более или менее значимую сферу, не предложившую русской речи сомнительных поправок. Может быть, не отрывать всех этих людей от их прямых задач и предоставить язык специалистам?

Считал бы в высшей степени полезным, чтобы изменения в официальной речи — от прессы до магазинных ценников — обсуждались группой ученых, писателей и журналистов, способных предписывать говорящим и пишущим соблюдение определенных норм. Эта группа должна была бы стать авторитетным государственным органом (возможно, комитетом

при правительстве), работающим на постоянной основе. Рекомендации ее могли бы коснуться таких топких мест современного языка, как аббревиатуры или заимствования.

Существует ли вообще возможность влиять на речь? Оценивая нынешний потенциал телевидения и радио, можно не сомневаться, что рычаги воздействия имеются. Допустимо ли эти рычаги использовать? Думаю, да. Ведь пресловутое воздействие на наше сознание уже осуществляется — с той интенсивностью, на которую только способны электронные СМИ. Никогда еще новая лексика не распространялась с такой скоростью. Именно поэтому мы должны быть вдвойне осторожны, прежде чем выпускать на свет Божий и тиражировать очередное непроизносимое слово. То воздействие, о котором говорю я, скорее — противодействие.

Контроль официальной речи выполнял бы роль фильтра, выводящего из информационного потока отравляющие наш язык «вещества». Пусть новые слова поборются за существование в частной речи. Зачем же сразу предоставлять им трибуну, на которой они автоматически обретают качества нормы и образца? Пусть пройдут проверку на прочность в Интернете, который всегда будет сферой абсолютной свободы, в том числе — грамматической. И если недавно возникший на телеэкранах «фишер» докажет свою жизнеспособность в частной речи, появится смысл обсудить, целесообразна ли замена им «рыбака».

Можно сколько угодно смеяться над неприжившимися «мокроступами» и «земленебом», но без активного отношения к языку не возникли бы у нас такие слова, как «пароход», «промышленность», «предприятие», «холодильник», «самолет» и сотни других. Не сомневаюсь, что и эти, привычные теперь, слова когда-то звучали довольно забавно. Но ведь, что ни говори, есть еще бо́льшие основания смеяться над байкером, баннером, геймером и множеством других слов, для которых имеются освоенные русским языком эквиваленты (не обязательно, кстати, русские по происхождению). Напоминать о существующей лексике и рассматривать (вырабатывать?) новую было бы одной из задач предполагаемого учреждения.

Его структура и полномочия могли бы стать предметом подробного обсуждения не только филологов, но и юристов, законодателей, представителей прессы и т. д. В качестве примера отмечу лишь, что во Франции специальным комитетом по неологизмам разрабатываются французские эквиваленты для штурмующих язык Флобера американизмов. Культура у французов вполне открытая, но доминирования чужого на своем пространстве они тем не менее не любят. И чистоту своей речи

блюдут. В этой стране действует довольно жесткий закон (закон Тубона), за порчу французского языка предусматривающий крупные штрафы. Дело, конечно, не в штрафах. Просто принятые меры привлекли к проблеме внимание и побудили общество относиться к языку уважительно. К французскому. В отношении русского языка это можем сделать мы.

Мы между реальностью и мифом

Много же и иных всяким чюдным родством,
как во Фрицких, и во Индийскихъ, и в Сирских странах: у иных песии главы, а иные без глав,
а на грудех зубы, а на лактях очи,
а иные о дву лицах, а иные о четырех очех,
а иные по шести рог на главах носят,
а у иных по шести перстов у рук и у ног.

Хронограф 1617 года

Что интересно: согласно опросам, западноевропейцы в целом неплохо к нам относятся. Интересно — потому что источники их информации о нас такого отношения вроде бы не предполагают. Как человек, ряд лет смотревший телевизор в Германии (и продолжающий смотреть немецкие телеканалы по «тарелке» здесь), скажу без обиняков: на положительный образ шансов у нас не много.

Самые благоприятные телевизионные варианты — Собор Василия Блаженного или, скажем, панорама Кижей. Кони на Волге. Открытие выставки самоваров в Берлине. Из менее приятного — достоевские подворотни в Петербурге, нищие в переходах — это если без конкретных обвинений. Но чаще — с обвинениями. С фактами и комментариями. С озабоченным (страна тревоги нашей), врачебным каким-то выражением лица. Наконец, бесконечные фильмы и сериалы, где плохие парни говорят преимущественно по-русски. Эти скуластые, неопределенной расы существа обезвреживаются белокурыми сотрудницами полиции. И эти существа — мы.

Может быть, они нас все-таки не любят? Это сложный вопрос — как, впрочем, всё, что хоть сколько-нибудь связано с любовью. Я слышал его в баварской пивной — в беседе двух наших соотечественников, сидевших за соседним столиком. «А за что им нас любить?» — было ответом. И действительно: за что? Тоже

ведь сразу не сообразишь.

Но я бы не сказал, что они нас не любят. Не понимал бы, по крайней мере, под этим какого-то активного действия. Некой злостной нелюбви, направленной конкретно на нас. Суть их эмоций уместнее сформулировать в положительном ключе: они любят *себя*. Именно себя они считают нормой, и это — прошу прощения за каламбур — нормально, потому что любая человеческая общность в центре мироздания видит именно себя. А как легче всего утверждать норму? Путем демонстрации аномального. Вот они и демонстрируют его. То есть нас. И ошибается тот, кто думает, что мифологизация чужого возникла сегодня. Так было всегда.

Прибыв на Восток, Александр Великий обнаружил там диких людей. Рост их составлял две сажени, а на лицах росла шерсть. Пойдя в глубь пустыни, через шесть дней войско Александра встретило других удивительных людей, имевших каждый по шесть рук и по шесть ног. Многих из них Александр убил, многих же схватил живыми. Он хотел привести их в обитаемый мир, но никто не знал, что едят эти люди, и все они умерли. Муравьи там были такого размера, что один из них, схватив коня, уволок его в свою нору. Александр же велел принести соломы и поджечь ее. И муравьи сгорели. Оттуда пришел Александр в лесистую местность, и увидел иных странных людей: выше пояса это были люди, ниже пояса — лошади. Когда он попытался привести их в обитаемый мир, на них подул холодный ветер, и все они тоже умерли. Александр прошел от того места сто дней и приблизился к пределам вселенной.

Приводя эти сведения из «Александрии», я стремился не слишком удаляться от ее древнерусского текста. Эллинистический роман Псевдо-Каллисфена об Александре Македонском был любимым чтением средневековой Европы — включая, разумеется, наших предков. Не обделенный экзотикой и в греческом своем оригинале, на Руси роман был существенно расширен. Сопоставление древнерусских редакций с оригиналом демонстрирует механику создания мифа, его распространение новыми событиями и подробностями. Лицам, эти подробности добавлявшим (на основе, в частности, «Сказания об Индийском царстве»), и в голову не приходило, что они, так сказать, дезинформируют древнерусскую общественность: на границе ойкумены монстров просто не могло не быть.

«Александрия» — не первое и, уж конечно, не последнее произведение подобного рода. Сообщения о монстрах находим еще у Геродота, много места уделяется им в «Естественной истории» Плиния Старшего, есть они у Солина, блаженного

Августина, Исидора Севильского, Павла Орозия, Матвея Меховского и многих других. А вот как в XIII веке итальянским миссионером Джованни дель Плано Карпини описываются земли (приближаемся к отечественному материалу) к востоку от Руси: «…прибыли к паросситам, у которых, как нам говорили, небольшие желудки и маленький рот; они не едят мяса, а варят его. Сварив мясо, они ложатся на горшок и впитывают дым и этим только себя поддерживают; но если они что-нибудь едят, то очень мало». Кроме того, «нашли некиих чудовищ, которые, как нам говорили за верное, имели во всем человеческий облик, но концы ног у них были, как у ног быков, и голова у них была человеческая, а лицо как у собаки; два слова говорили они на человеческий лад, а при третьем лаяли, как собака».

Наконец, и наша собственная культура в вопросах мифотворчества ни в коей мере не является исключением. Вот, к примеру, фрагмент описания русскими сибирских самоедов: «В той же стране есть иная самоядь: по пуп люди мохнаты до долу, а от пупа вверхь, якоже и прочии человеци. А ядь их рыбы и мясо. А торг их соболи и песцы, и пыжи, и олении кожи» («Сказание о человецех незнаемых»).

Что является общим для всех подобного рода сообщений? Место действия. Это — пограничье обитаемого мира, территория, традиционно рассматривавшаяся как неблагополучная. Край ойкумены — если не закон, то по крайней мере важнейший принцип функционирования мифов об аномальном. И это дает ключ к пониманию целого ряда вещей.

На краю ойкумены живем мы. Жестокие, небритые, нетрезвые. Мрачно любуясь пролетающими спутниками, гуляем по Красной площади. Воюем по делу и без дела. Душим прогрессивных потребителей газа и поддерживаем реакционных. Земля наша велика и обильна. Скупаем футбольные команды или безобразно оттягиваемся в Куршевеле. Демократических ценностей (да, скифы мы) упорно не признаем.

Западные претензии — они не к нам лично, скорее к мироустройству в целом: живя на границе обитаемого мира, трудно быть хорошим. Уж такое это место. Я спросил у одного немецкого журналиста, координируется ли кем-то, на его взгляд, транслируемый на Германию «негатив» о России. Он ответил, что ничего об этом не знает. Думает, что не координируется (я тоже так думаю). Что содержание репортажей диктуется зрительским (читательским) ожиданием: спрос, условно говоря, рождает предложение. Будучи бизнесом, телевидение (газеты) торгует лишь тем, что может быть продано.

А кем, в свою очередь, формируется спрос? Предложением?

Погружаясь в эту зыбкую диалектику, отвечу: и да, и нет. Спрос формируется традицией. Для заведомо безновостных дней западные телеканалы заказывают какой-нибудь ужастик своим российским корреспондентам. Они исходят из того, что такого материала здесь не может не быть. Могли, казалось бы, обратиться за таким же делом к Болгарии, Румынии, Польше — радикально они от нас не отличаются, а находятся вроде как ближе. Не обращаются. Те — свои. Вошли, что называется, в обитаемый мир.

Край ойкумены — понятие не столько географическое, сколько цивилизационное. Он может находиться в самом центре Европы. Как никогда ярко это проявилось во время Косовской войны, когда министр обороны Германии Р.Шарпинг обвинял сербов в том, что они играли в футбол головами албанцев. Свое повествование Шарпинг основывал, возможно, не на «Александрии» (о футболе в ней ничего не говорится), но рассуждал он строго в категориях древней мифологической традиции. Эта традиция не предполагала доказательств. Если уж где-то должны были играть в такой футбол, то именно в подобных местах. Не эта ли мысль так подавила в Петербурге «Баварию»?

Кто распространяет мифы? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся опять-таки к истории. Перечисленных мной древних авторов нельзя упрекнуть ни в авантюризме, ни в патологической лживости, ни в недостатке образования. Если добавить к приведенному ряду имена Цицерона, Тибулла, Овидия и Вергилия, можно окончательно убедиться в том, что речь идет о публике вменяемой и вполне, так сказать, интеллигентной. Абсолютно те же характеристики приложимы и к авторам Нового времени.

Субъективная добросовестность распространителей мифов — вчитаемся повнимательнее в древние тексты — нередко подчеркивается их ссылками на местное население («как нам говорили за верное»). И итальянцу Плано Карпини, и русским купцам в Сибири, и огромному множеству тех, кто расспрашивал о необычном, аборигены всякий раз рассказывали именно то, чего от них ждали. Вообще говоря, они были не так уж просты, эти аборигены. И когда итальянский монах замечает, что местные описания монстров напоминают описания Исидора Севильского (такое совпадение кажется ему подтверждением истинности описаний), степень его простодушия в чем-то превышает простодушие туземное.

Россия не только охотно поддерживала мифы о себе: она их производила и не ленилась распространять. Забавно, но даже

научные работы в области мифологии благодарно пользовались русским материалом. Рассуждая о происхождении мифа о людях с собачьими головами, французский исследователь М.Гедо приводил факты реального существования людей с лицами, сплошь заросшими волосами. В начале прошлого века он упоминает о жителе Костромской губернии *(du gouvernement de Kostroma)* по фамилии Петров, который в Париже демонстрировал сына, имевшего подобный облик.

Приведу более свежий пример. По одному немецкому каналу в течение всего дня анонсировался репортаж об отсутствии электричества в какой-то подмосковной деревне. Даже по деревенским нашим меркам звучало это, согласитесь, экзотически. Стоит учесть и то, что телевизионный кадр по сути своей — обобщение. Выражаясь языком семиотики, он всегда знак чего-то большего. Будучи немецким обывателем, я представил бы себе дело следующим образом. Если всего в часе езды от Москвы нет электричества, то в двух часах нет, по всей видимости, воды, а в трех, пожалуй, и воздуха.

Я посмотрел программу. Речь шла о дачном поселке, в котором сломался электродвижок. Не желая тратиться на новый, продвинутые московские дачники позвали немецкое телевидение с мыслью, видимо, напугать местные власти и «стрясти» с них движок. Дачники мелькали в своих окнах с громадными свечами, а выйдя во двор, передвигались подчеркнуто на ощупь. Разобрались ли немцы в этой истории из жизни отдыхающих? Подозреваю, что — да. Вместе с тем, не моргнув глазом, они сняли ее и прокрутили по своему телевидению до последнего кадра: эта история их вполне устраивала. В большей или меньшей степени она соответствовала тому, что в Германии думают о России.

Отдельная тема — наши за границей. Нынешние обитатели Куршевеля вызывают у французов не меньшее потрясение, чем вызывал в свое время сын крестьянина Петрова. В отличие от истории столетней давности, к любопытству примешивается абсолютно не скрываемое презрение. Служащие отелей «русской Европы» охотно выступают в прессе и рассказывают о проделках своих гостей. В заключение они говорят, что это русское безобразие себя окупает, и оттого — презирают нас еще больше. Такое вот взаимообогащение культур.

Традиция разоблачения мифов так же стара, как и традиция их создания. Геродот, например, не очень верил в существование одноглазых людей аримаспов. Страбон порицал Деимаха и Мегасфена за то, что «они рассказывают нам о людях, которые сидят на своих ушах, о безротых, безносых, об одноглазых и

длинноногих и о людях с повернутыми назад пальцами».

Особое место в этом ряду занимает позитивистская наука XIX — первой половины XX века, пытавшаяся отыскать в причудливых описаниях «объективную основу» и тем самым развенчать миф. Так, необычный вид живущих на Севере кинокефалов («песьеголовцев») толковали, сближая их с моржами (А.Лерберг). Объясняя отсутствие у аримаспов второго глаза, сообщали, что в таких холодных областях, как киргизские степи, жители защищаются от снежной слепоты тем, что пользуются только одним глазом (Р.Хенниг). Этот путь толкования оказался тупиковым, потому что у мифа — свои законы и своя реальность. Кинокефалы возникали вовсе не потому, что на границе обитаемого мира кто-то кого-то напоминал. Всё дело было в этой самой границе: от подобных территорий впору было ждать чего угодно.

В то время как причины возникновения мифов теряются в длиннейшей историко-культурной ретроспективе, со следствиями этого процесса можно и нужно работать. Мифам следует противопоставлять реальность. В свое время меня удивило, что читавшиеся мной на Западе лекции о древнерусской культуре нередко превращались в сеанс демифологизации. С неподдельным интересом аудитория, убежденная в особой мрачности русского Средневековья, узнавала о Новгородской «демократической республике», о том, что древнерусская женщина, в отличие от западной, была субъектом права, о том, что у нас, оказывается, не было инквизиции. Слушатели открывали для себя, что Иван Грозный — именно «грозный», а не «ужасный» *(Ivan the Terrible, Ivan der Schreckliche)*. Объясняя, почему Грозный — не Дракула, я пытался дать им понять, что при всех Ивановых злодействах он — фигура трагическая и глубокая. Это — Шекспир, а не Дисней.

Проблема «русских мифов» была подробно рассмотрена в книге В.Р.Мединского «О русском пьянстве, лени и жестокости». Стиль этой книги мне не близок, но появление ее кажется симптоматичным. Общество — в лице, между прочим, депутата ГД — проблему начинает осознавать. Замечу лишь, что, взяв курс на демифологизацию, важно не заходить здесь слишком далеко: не в меру горячее отрицание монстров может казаться не менее странным, чем утверждения об их существовании.

Мифологические архетипы в головах современных людей сидят так же прочно, как сидели они в головах людей прошлого. Без осознания этого не объяснить невероятного успеха «Гарри Поттера», «Властелина колец» или, скажем, победы финских монстров на «Евровидении». Но это — отдельная тема. Что же

касается нашей темы — национальной мифологии, — можно попытаться ответить на два вопроса: 1) зачем она нужна им? и 2) зачем она нужна нам?

Ответ на первый вопрос, в сущности, очевиден. Он обусловлен древней ролью мифов о неблагополучном. Эта роль — подчеркнуть собственное благополучие. Рассказ о чьей-то отверженности — это одновременно сообщение о собственной избранности. Свой мир легче всего утверждать на фоне антимира. Именно потому так важен Западу факт его отделенности от нас. Именно потому — вопреки демократическим принципам и здравому смыслу — в обозримом будущем нам не приходится ждать открытия ими границ. Политологи и историки справедливо отмечают, что важнейшим катализатором становления НАТО и Евросоюза был СССР. СССР больше нет, но НАТО и Евросоюз остались, как остались и их геополитические интересы. Почему же должна измениться сопровождающая эти интересы мифология? В этой истории я не искал бы конкретных виновников: уровень проблемы более цивилизационный, чем политический. В этом объяснение того, что в обозримом будущем мифология будет, по всей видимости, самовоспроизводиться.

С ответом на второй вопрос дело обстоит сложнее. Почему мы так активно убеждаем Запад в том, в чем он и без того уверен? Может быть, причина — в нашем молчаливом признании своего периферийного положения в мире (оно выражается многообразно — от захлестнувшей нас заимствованной лексики до планов строительства небоскреба в Петербурге)? Или мы просто привыкли к роли? По большому счету, на вопрос, зачем нам нужна эта мифология, я ответить затрудняюсь. Могу даже предположить, что она нам не нужна.

В заключение скажу о важной вещи, которую приберег напоследок. Да, отношение к краю ойкумены было по преимуществу негативным. Но нельзя вместе с тем не вспомнить и о противоположной тенденции, засвидетельствованной также с самых давних пор. Речь идет об идеализации, порой — сакрализации окраинных земель. Ведь как раз в пограничных местах помещались земли блаженных, там локализовался Рай. Обе традиции могли уживаться в творчестве одного автора, как это имеет место у того же Плиния, наряду со страшными чудовищами описывавшего счастливых гипербореев. Принадлежность к идеализирующей традиции позволяла видеть в России Эльдорадо и гнала сюда сотни тысяч западноевропейцев. Истории о сказочной жизни отрывали от родной почвы немцев и голландцев, итальянцев и французов и бросали их в наши суровые края. Это лишний раз доказывает, что миф — не

абстрактная культурологическая категория, а вполне реальная сила.

В последнее время наряду с рассказами об ужасном в отношении России наблюдается очевидное возрождение идеализирующего мифа. Подобно негативному мифу, идеализирующий миф Запада имеет под собой определенную почву (объективное улучшение ситуации в России), но страдает теми же преувеличениями и кривизной. После стольких лет нищеты и бессилия гиперболизация нынешних богатства и силы может показаться лестной. Для национального самосознания даже — полезной. В каком-то ограниченном, реанимирующем смысле с этим, вероятно, можно согласиться. Но по большому счету это не так.

Дело не только в том, что всякое преувеличение ведет к разочарованию, что самолюбование для развития пагубно — это вещи очевидные. Важно и другое. У идеализирующей и негативной мифологий есть общая черта: и положительное, и отрицательное приобретает здесь ненормальные размеры. Мне кажется, мы созрели для более сложных, а потому — значимых ролей. И с прежними можно уже, в сущности, попрощаться. Уйти, смывая с себя на ходу ненужные краски.

Вопросы и ответы

О себе

Когда Вы впервые в жизни взялись за перо и написали свой самый первый рассказ?

Мне было лет восемь, и я написал рассказ о том, как на нашу страну напали немцы. Если мне не изменяет память, это было вольное переложение одной из песен. А потом пришла моя тетя (она преподавала русский язык в университете) и сказала, что рассказ малохудожественный. Я не понял, что это значит, но с тетей спорить не стал. С тех пор вопрос художественности обрел для меня особое значение.

В Вашем вхождении в литературу есть что-то неожиданное, таинственное, я бы даже сказал, чудесное. Никто не знал про существование писателя Водолазкина еще несколько лет назад — знали ученого, филолога, специалиста по древнерусской литературе — и вдруг стали выходить одна за другой художественные книги, и Вам довольно быстро и, на первый взгляд, очень легко удалось сделать себе имя в литературе. А ведь нынче это еще труднее, чем в советские времена, и можно привести в пример немало людей, написавших одну или две книги, но писателями так и не ставших. Вы — стали. В чем Ваш секрет и действительно ли тут замешано какое-то волшебство?

Мне кажется, и в моем случае имя делалось не без сложностей. После вручения одной из литературных премий ко мне подошел почитаемый мной Владимир Семенович Маканин. Он сказал мне, что рассчитывал на победу моего романа «Соловьев и Ларионов» и сожалеет, что этого не случилось. И прибавил: «Всё у вас для этого было — кроме имени. Вам не хватило имени». Что до легкости, о которой Вы говорите, то она выразилась в несколько другом смысле. Я не испытывал напряжения, свойственного начинающим авторам. Ко времени публикации моих первых вещей вопрос самореализации (он важен для всякого человека) в моей жизни уже не был основным. «Опорной» ногой я стоял в науке, и страха «не состояться» у меня не было. В случае литературной неудачи я бы продолжал заниматься Древней Русью (как, впрочем, занимаюсь ею и сейчас), эта работа доставляет мне радость.

Вы долго к этому шли, таились, писали в стол и не решались публиковать или же стали писать относительно недавно? Как это случилось? Не страшно ли было отдавать в

печать свое первое сочинение? Известный ученый, доктор наук, а вдруг Вас обругала бы критика, коллеги либо подняли бы на смех, либо посочувствовали. Это все-таки риск. Или же Вы всё точно рассчитали? А с другой стороны, не жалеете, что какое-то время было упущено? Может быть, стоило начать раньше?

До сорока лет я написал лишь несколько вещей, так что речь о систематическом писании в стол не идет. Было, скорее, другое. Предчувствие, что литература — это та сфера, которая когда-нибудь может стать моей. С этим предчувствием я, видимо, и пошел когда-то на филфак, как идут туда многие — не имея еще конкретных жизненных планов, из влечения к слову как таковому. Другое дело, что филологическое образование — это я понял уже потом — к писательству особо не приближает. Иногда даже отдаляет, поскольку свое умение писать литературно филолог способен ошибочно принять за что-то большее. Гладко написанный текст — это еще не литература. Литература — это то, что возникает над текстом, как электрическое поле вокруг проводов. И для того, чтобы создать это поле, автору нужна особая энергетика, особое умонастроение, в*и*дение (в*е*дение?), которые появляются с опытом. Под опытом я понимаю не механическую сумму пережитого, а результат внутренней работы, который включает и пережитое, и выводы из него, и что-то такое, что приходит без всякой видимой причины. Это возникает чаще всего в зрелом возрасте, и здесь лежит ответ на Ваш вопрос, жалею ли я, что время упущено. Нет, не жалею, потому что время не было упущено — внутренняя работа шла. Начни я писать раньше — мог бы, наверное, публиковать тексты, создающиеся на чистой технике, — детективы, фантастику, еще что-нибудь. Но жанр, стиль (а с ними — глубина погружения) обладают удивительной цепкостью, и не всегда у начавшего «в легком жанре» впоследствии получается сменить регистр. Я знаю талантливых людей, которым, несмотря на все усилия, это так и не удалось. Что до возможности выглядеть смешным, то, я знаю, некоторые мои коллеги из этих соображений пишут под псевдонимом. Но правда, как известно, рано или поздно выходит наружу, и тут уж становится смешно вдвойне: еще и под псевдонимом. Я, подобно Карлсону, в этом отношении сохранял спокойствие. С годами вообще меньше смотришь по сторонам, просто делаешь то, что считаешь нужным.

Изменилась ли как-то Ваша повседневная жизнь после того, как Вас стали печатать и из ученого Вы… как бы это лучше сказать — превратились в писателя, обогатились им,

усложнились, раздвоились? В самом деле, как в Вас сосуществуют два этих начала, не мешают ли они друг другу? Кто жена, а кто любовница — или же чеховское сравнение тут не работает?

Наука и литература — это разные способы познания мира. В одной голове они могут чувствовать се бя хорошо, лишь находясь в разных помещениях. Совместное их проживание пагубно: хуже пестрящего научными данными романа может быть только художественно написанное исследование. В науке я текстолог, занимаюсь преимущественно генеалогией древнерусских текстов, и работы мои похорошему скучны. Настоящая наука должна сводить эмоции к минимуму, и полученное научное воспитание не позволяет мне изменять этому принципу. Те эмоции, которые не помещаются в генеалогические стеммы, я отдаю литературе. Необходимое разделение науки и литературы не исключает в то же время их взаимодействия. Наука дает литературному творчеству материал и внимательное отношение к источникам, литература же, со своей стороны, — тот гармонический взгляд, которым поверяется алгебра науки. Что до чеховского образа, то я назвал бы себя двоеженцем, но боюсь, такого определения не поддержит моя жена.

Что вам важно в художественном слове — как писателю, как исследователю и как читателю? Что Вы любите читать больше всего? А чего никогда не читаете?

Я не могу сказать, что есть тексты, которые никогда не буду читать. Такое заявление для филолога недопустимо. Даже плохой, слабый текст очень важен для отражения общей картины. Для того чтобы определять литературную магистраль той или иной эпохи, нужно обращать внимание и на проселочные дороги. Движение литературы — это последовательное проникновение в сферу невыразимого, отвоевывание у нее новых пространств. Художественные новации возникают не из праздного интереса, они — инструменты, при помощи которых с явлений снимают проклятие невыраженности. Новые инструменты появляются только тогда, когда старые уже не достигают цели. Как читателя меня интересует то новое, что удалось выразить. Как исследователя — те инструменты, при помощи которых удалось выразить новое. Как писателя — то, что всё еще остается невыраженным.

Становится ли новая книга для вас навязчивой идеей, которая полностью занимает вас, пока роман не будет готов, или Вы можете возвращаться к работе время от времени,

когда чувствуете вдохновение?

Мне кажется, роман — это как длительные любовные отношения. Здесь предусмотрена возможность и чаю выпить, и на работу сходить. Особенно важно — на работу: у нас не много людей, позволяющих себе заниматься исключительно писательством. Понятно, что при таких обстоятельствах непрерывный экстаз невозможен. Зато в сердце автора есть сильное постоянное чувство. Автор часто думает о романе. А роман напоминает о себе не только за письменным столом, но и в электричке, в ванной, на рабочем заседании. Он входит в авторскую жизнь, и такое вхождение без определенной упорядоченности отношений невозможно.

Был один художник, который болезненно воспринимал выставки своих картин и отзывы посетителей, даже самые положительные. Он чувствовал ревность и, наверное, страх, что его не поймут или поймут не так. А вам не страшно делиться с людьми Вашими книгами? Что Вы чувствуете, отдавая готовую книгу в печать?

Я чувствую, что ее жизнь только начинается. Книга ведь только наполовину создается автором — вторая половина создается читателем, его восприятием. По большому счету, сколько читателей, столько и книг. Как же я могу ревновать к своим соавторам? Меня не пугают даже самые странные интерпретации моих книг: значит, и это было заложено в моем тексте. Не обвиняю читателя даже тогда, когда он не хочет быть соавтором и попросту закрывает мою книгу. Это ведь я и никто другой написал что-то такое, что родило в читателе подобный отклик.

«Соловьев и Ларионов» — Ваш писательский дебют?

Нет, кое-что я писал и раньше. Было несколько пьес, был роман «Похищение Европы», стилизованный под «литературную речь», — своего рода протест против расхристанных текстов, которые так любили в девяностые. На нынешний мой взгляд этот роман недопустимо публицистичен, сейчас я бы так уже не писал. Мне вообще кажется, что лишь в последние годы я начал избавляться от инфантилизма. Знаете, у меня какое-то удивительно позднее взросление.

Несмотря на годы занятия наукой?

Наука не учит жизни, а если и учит — то какой-то особой ее стороне, которая не очень пригодна в писательской работе. Стать представителем «профессорской» литературы было одним из

главных моих страхов. Я и сейчас боюсь скатиться к литературе приема, всякий раз проверяю себя на способность над вымыслом слезами обливаться. Прежде всего — над своим собственным.

Получается?

Представьте себе — да. В защиту корпорации отважусь напомнить, что и филологи любить умеют.

Вы же помните фильм «Осенний марафон», который, как кажется со стороны, ровно про Вас: филолог, Ленинград, странная жизнь человека, которому с текстами легче, чем с людьми. Вы ведете такое бузыкинское существование? Я не про личную жизнь, разумеется, а про быт, тип научного существования.

Безусловно, Бузыкин — это очень питерский персонаж. И я знаю людей из моего круга, которые не только подобны Бузыкину, но он им очень нравится, они себя с ним отождествляют, им кажется, что этот фильм о них, и после выхода фильма они даже стали в себе несколько культивировать эти черты. Что касается меня, то я себя с Бузыкиным не отождествляю. Я человек другого склада.

Но Вы тоже бегаете целыми днями с заседания кафедры на ученые советы?

Нет, у меня всё несколько иначе. Бузыкин — это скорее тип университетского человека, бесконечно замотанного, бегающего с лекции на лекцию. У русского академического ученого особый образ жизни, прежде всего — спокойное занятие наукой.

Не предполагающее бегания с будильником?

Нет. У академического ученого в среднем два присутственных дня в неделю — когда он может выпить чаю с коллегами, а затем отправиться, как и во все прочие дни, в библиотеку или архив — основное место занятий исследователя. Жизнь гуманитария в русской академической традиции всегда была несуетной. Это не значит, что она — ненасыщенна, наоборот, она заполнена до предела. Если посмотреть, сколько успевают сотрудники Академии и как плодотворны их занятия, можно только удивиться. Человек же, читающий лекции, — а в России нагрузка очень велика — просто физически многого не успевает. То, что академический мир сейчас пытаются разрушить, — большая ошибка. Дело не только в том, что Академия обеспечивает львиную долю научных достижений России. Это еще среда, которая сама себя воспроизводит, а если угодно — и способ

жизни. Всё это важно для нормального существования общества в целом, и надеюсь, что это все-таки сохранится.

Статус ученика Д.С.Лихачева обязывает к чемуто? Ну не знаю, материться нельзя публично, или там порнографический роман написать, или в НБП вступить?

Всякому человеку должно хватать его собственных тормозов. Если ему приходится вспоминать о том, чей он ученик, это опасный признак.

Вы петербуржец. Как Вы думаете, это накладывает на Вас какой-то отпечаток? Верите ли Вы в петербургский миф, и если да, то что он сегодня? Актуально ли противостояние двух столиц? Испытываете ли Вы чувство некоторого превосходства по отношению к москвичам? (Будь я петербуржцем, то, честно скажу, испытывал бы — а так только зависть.) Или неприязни к ним?

Я думаю, жизнь в этом городе накладывает отпечаток на любого. Петербург — это такая форма, которая неизменно лепит свое содержание. Посмотрите, как город опустошался после большевистского переворота или — особенно — в блокаду. На смену ушедшим приходило совершенно иное население. Оно съезжалось из самых разных мест, но уже после нескольких лет жизни здесь приобретало новое качество, становилось некой общностью, непохожей на население прочих городов. Не все из приехавших ходили в Эрмитаж или Мариинку, но важно уже то, что они ходили ми мо них, мимо соборов и дворцов, по набережным и мостам, и эта красота делала их другими. Нынешний Петербург лишен столичной энергетики, его больше не окружает аура власти, но тем с большей силой в нем стали проявляться его внутренние свойства, его метафизика. Что до противостояния Москвы и Петербурга, то если оно и существует, то скорее как род любовной игры — чтобы освежить чувства. Здесь любят шутить, что в Москве есть много чего, но всё лучшее — в Петербурге. Это, конечно, не совсем так. Несмотря на эти бодрые заявления, поток переезжающих из Петербурга в Москву гораздо мощнее противоположного. Всякий желающий «достичь успеха» понимает, что в полной мере цель осуществима лишь в Москве. Это касается большинства сфер — за исключением, может быть, науки и литературы, к которым мне посчастливилось иметь отношение. Потому, любя Москву, вряд ли я когда-нибудь задумаюсь о переезде. Мне кажется, что московские пространства уже превышают те пределы, которые способна освоить человеческая душа. А Петербург, как известно, город маленький.

Перешел через мост — Пушкинский Дом, перешел через два — Публичная библиотека. Я живу недалеко от Петропавловской крепости и всюду хожу пешком. Петропавловская крепость не случайно построена Петром на Заячьем острове — оттуда оба рукава Невы простреливаются. Так что город у меня в целом под контролем.

Вы любите путешествовать? Что для Вас важнее всего в путешествии, ради чего Вы пускаетесь в до рогу? Какие Ваши любимые города или места?

Путешествовать — люблю. Мне интересно ощутить повседневность того места, куда приезжаю. Сидеть на скамейке в парке или растворяться в улице, ни во что не вмешиваться, просто наблюдать. Это чувство хорошо отражено Дмитрием Даниловым в романе «Описание города». Любимые города? Их много. Рим люблю, Париж, Лондон. Очень люблю Мюнхен — прожил там пять лет. Не говорю уже о Петербурге, в котором живу постоянно.

Складывается впечатление, что северная природа вам ближе, чем южная. Так ли это? Что вам в природе созвучно больше всего? Какой климат, ландшафт, настроение?

Северная природа — бедная, ее дополняешь, обогреваешь собой, к ней возникает своего рода жертвенная любовь, которая, как известно, очень сильна. Это не значит, что я не люблю южной природы — люблю, просто это другое чувство, тип любвистрасти. Важно, чтобы эта красота была одухотворенной, сопровождаемой — как многие вещи на юге — ароматом истории. Очень люблю Крым, описал его в романе «Соловьев и Ларионов». Крым — это и греки, и генуэзцы, и татары, и русская знать, и дама с собачкой. Безграничную нежность испытываю к Италии. Если бы жизнь устраивалась так, как я хочу, часть года проводил бы там. Жил бы на берегу моря где-нибудь под Неаполем и дышал вечностью. Лежишь на пляже, скажем, в Поццуоли, а вдалеке виднеется полуостров Мизено, где Одиссей похоронил двух своих спутников. За твоей спиной озеро, в котором, по Вергилию, вход в подземный мир. А рядом — порт, где высадился апостол Павел по дороге в Рим. Надо всем этим — вулкан Сольфатара, весь в серных испарениях. Тут и без серных испарений голова пойдет кругом…

Одна из важных тем Ваших произведений — проблема общения. И одиночества. А как Вы относитесь к интернету и внезапно обрушившимся на нас новым средствам связи? Чем

одиночество современного человека отличается от одиночества людей других эпох?

К интернету отношусь спокойно — именно как к средству связи, не более. Я даже предпочитаю писать это слово, вопреки принятым правилам, с маленькой буквы: мы ведь не пишем с большой буквы слово «телефон». Блога у меня нет, ни в одной из социальных сетей я не состою: при слове «сеть» у меня возникает образ чего-то наброшенного сверху. Некоторые относятся к интернету с почти мистическим ужасом, поскольку не до конца понятно, что он в себе скрывает. Пользуясь современными технологиями, посредством интернета человека можно невероятно возвысить или, наоборот, устроить беспощадную травлю. Вообще говоря, человечество не всегда дорастает до своих открытий. Помните рассказ Зощенко «Диктофон», в котором, испытывая «гениальное изобретение», в него начали ругаться матом и стрелять? Нужно отдавать себе отчет в том, что все лезущие из интернета чудовища родились не в нем, а в человеческой голове. Общение в интернете — опосредованное, оно не дает уверенности в том, что твой адресат существует — по крайней мере таким, каким ты его себе представляешь. Социальная сеть от одиночества не избавляет, потому что одиночество — явление не социальное, а персональное. Древнерусские отшельники жили в дремучих лесах, но одиночества не испытывали.

Вы много лет посвятили изучению литературы Древней Руси. А какую литературу вам приятнее читать в повседневной жизни? Не интересно как предмет изучения, а именно приятно.

Любую, абсолютно любую, от средневековой хроники до современного детектива — лишь бы это было хорошо написано. Чередую самые разные времена и жанры — есть в этом что-то от контрастного душа.

Герой «Лавра» вспоминает слова Арсения Великого о том, что ему приходилось много раз жалеть о сказанных словах, но никогда — о молчании. Вам знакомо чувство сожаления о том, что промолчали, когда стоило говорить?

Когда я впервые прочитал эти слова Арсения Великого, я, представьте, задавался тем же вопросом. Я помнил еще строку Александра Галича «Промолчи — попадешь в палачи», и в сознании моем была еще свежа советская действительность. Но когда я задумался о фразе святого Арсения применительно к себе, то выяснилось, что о сказанном я действительно сожалел гораздо

больше, чем о несказанном. Это мой персональный опыт, к которому я пытаюсь подходить со всей внутренней ответственностью. А кроме того молчание — оно ведь тоже бывает разным. Академик Лихачев однажды сказал: молчание — знак несогласия.

Вы — человек верующий? Если да — как и когда Вы пришли к Вере?

Да, я православный христианин, крестился в шестнадцать лет. Довольно позднее крещение, хотя в моей семье в прошлом были и священники. Один из них, протоиерей Александр Нечаев, был репрессирован и погиб в Коми. Вместе с тем, шестнадцать лет — тот возраст, когда созревает не только тело, но и душа. Она открывается для вопросов, прежде неважных и неинтересных. Например: в чем смысл человеческой жизни, если человек неизбежно умирает? Без Бога я этого смысла не находил — потому и крестился. Как это нередко бывало в советское время, — тайно, чтобы не возникло проблем с поступлением в университет. Я и сейчас стараюсь не говорить о вере без необходимости. Мне кажется, это свойство многих православных советского «призыва». Тогдашняя привычка к осторожности словно бы перешла в сдержанность сейчас, когда говорить о вере можно, а порой и модно. Понимаешь, что при многократном произнесении слова начинают девальвироваться.

Какая фраза из Библии Вам особенно близка?

Например, слова, сказанные Валтасару в Книге пророка Даниила: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Можете придумать что-то более совершенное? Как-то удивительно емко выражена абсолютная тщета величия, земного богатства и славы. Очень полезно повторять такие вещи самому себе.

Мир, изображенный в романе «Лавр», существует по жестким законам: зло наказуемо, грех требует искупления, от недуга спасает молитва. Насколько иначе устроена окружающая реальность в Вашем личном восприятии?

Зло наказуемо — даже тот, кто внешне остался безнаказанным, разрушил что-то в себе самом. Грех требует искупления — такие категорические высказывания допустимо обращать только к себе. От недуга спасает молитва — я был тому свидетелем.

Если времени, как утверждают Ваши герои, действительно нет, если бытие едино и неразделимо, как Вы

ощущаете это в своей жизни? Умеете ли Вы свободно перемещаться во времени — может быть, не так, как ваш герой Амброджо, а по-своему?

Если считать себя всего лишь удачным сочетанием молекул, о вневременности говорить трудно. Умерев, раздаривать свои составные части земле и траве, продолжаться в кротах и ящерицах — в этом нет полета. Мне неинтересна такая вечность, потому что в ней нет моего «я», того, что называется душой. Ощущение вечности дает метафизический взгляд на вещи. Им обладает не только религия, но и литература, музыка, культура в целом. Всё это явления, выводящие нас за пределы материального, а значит — и за пределы времени, поскольку время, по одному старому определению, есть «форма существования материи». Мы находим наших собеседников в самых разных эпохах и при этом очевидным образом пренебрегаем временем. Что до моих собственных перемещений во времени, то, изучая древнерусскую литературу, я только этим и занимаюсь.

О «Соловьеве И Ларионове»

Что навело Вас на мысль о создании романа «Соловьев и Ларионов»?

Как всякая большая вещь, роман не обходится без многочисленных предпосылок. Таких, скажем, как потребность автора высказать те или иные идеи, его интерес к той или иной теме, его собственные жизненные обстоятельства, общественные настроения и что-то, наверное, еще. В точке пересечения этих линий и возникает роман. Применительно ко мне это выглядит следующим образом. Подобно большинству из нас, я пережил два трудных десятилетия (вопрос о нетрудных десятилетиях в нашей стране оставляю открытым), во многом сформировавших мои взгляды. Виденное за эти годы привело меня к убеждению, что в любых обстоятельствах можно оставаться человеком, то есть проявлять порядочность, быть милосердным, помнить о долге — всем понятно, что здесь имеется в виду. Не вызывает сомнений, что задача истории — нас испытывать, наша же — как-то держаться, прежде всего — в нравственном отношении. Центр тяжести в своем романе я поместил не в девяностых (хотя речь идет и о них), а в гораздо более трудных послереволюционных годах, где все контрасты резче. Кроме того, Гражданская война для меня — одна из семейных тем. Научная линия романа в биографическом отношении также неслучайна.

Один из главных героев книги — белогвардейский генерал Ларионов. Является ли его прототипом участник «Ледяного» похода Виктор Александрович Ларионов — впоследствии эмигрант, сотрудник газеты «Новое русское слово», или это случайное совпадение фамилий?

Здесь — совпадение. Вместе с тем, как всякий уважающий себя герой романа, мой Ларионов имеет своих прототипов. Прежде всего речь может идти о генерале Якове Александровиче Слащеве и его литературном потомке — булгаковском Хлудове. Не обошлось тут и без Суворова, и даже без моего прадеда, Михаила Прокофьевича Адамишина, который ушел в Белую армию добровольцем. Годы спустя, работая в советской школе, прадед не отказывал себе в удовольствии представляться ветераном Гражданской войны. В подробности, впрочем, старался не вдаваться. Отблеск юродства, лежащий на всех перечисленных лицах, наиболее полно воплотился в изображенном мной генерале Ларионове. Говоря о юродстве, имею в виду самый его глубокий — духовный — смысл.

В наши дни слово «юродство» несколько девальвировалось. Ведь юродство — это духовный подвиг, это образ жизни, мягко говоря, непростой, не всем доступный, крайне аскетичный, а мы чаще наблюдаем сегодня не юродство во Христе, а какое-то кривляние, желание просто самовыразиться и шокировать.

Юродство — это ведь не сумасшествие, как полагают некоторые. Смысл подвига юродивого, по словам одного церковного песнопения, — «безумием мнимым безумие мира обличить». Речь идет об особом состоянии духа, которое — Вы совершенно правы — вело человека к суровой аскезе: ношению вериг или хождению круглый год босиком. Но юродство — это больше, чем отказ от своего тела. Это отказ от собственной личности: вот он я, ничто, прах земной — сплю на мусорной куче, ем с собаками, меня и нет почти. Юродивый полностью растворяет себя в Боге, потому он — человек Божий.

Те современные — вполне просчитанные — акции, о которых Вы говорите, конечно, — не юродство. К эксцентричным поступкам юродивый прибегал, чтобы скрыть свое благочестие. Он буйствовал, «бежа славы от человек». Я не убежден, что за нынешними перформансами мы непременно найдем благочестие. Да и «славы от человек» там никто не бежит: для нее, собственно, такие акции и устраиваются. Вместе с тем, элементы юродства мы нередко видим в нашей повседневной жизни. Это происходит, когда человек, скажем, хочет снять излишний пафос — в себе или других. Когда ищет форму возражения начальству. Или просто устает от устоявшегося порядка вещей и взрывает его. Во многих есть что-то юродское…

Вы относите это и к себе?

Безусловно. Что интересно: юродивые — это научная тема моей жены. При случае выясню, чем обусловлен ее выбор.

В книге остроумно, но довольно зло показаны историко-филологические игрища — вроде конференции «Генерал Ларионов как текст» с высосанными из пальца никому не нужными докладами и притянутыми за уши выводами. Коллеги оценили Вашу сатиру? Разделяете ли Вы мнение, что это «филологический роман» — про филологов и для филологов?

Я не отделяю себя от своей среды, поэтому смех, о котором вы говорите, это прежде всего — смех над самим собой. Среди прочего — над временем своего собственного ученичества, без

которого не состоялся еще ни один ученый. Другое дело, что я воспитан определенной научной школой, в хорошем смысле консервативной, не предполагающей излишней вольности в интерпретации материала, — так вот в этом отношении я своих предпочтений не скрываю. Дмитрий Сергеевич Лихачев, под чьим руководством я имел счастье работать полтора десятка лет, говорил, что исследователь должен «держать истину на коротком поводке». И если видишь тех, у кого этот поводок вообще оборван, почему же не улыбнуться? Вообще говоря, смех — это полезное занятие, помогающее, по выражению Бахтина, занять позицию «вненаходимости». Такое понимание дела подводит, я думаю, к ответу на Ваш вопрос, для кого написан этот роман. На научную среду — довольно специфическую и закрытую — я попытался посмотреть извне. С одной стороны — зная ее, а с другой — удивляясь ей вместе с читателем. Взял читателя за руку и объявил день открытых дверей. Поэтому я говорю: нефилологи, за мной! Роман — о науке, но писать я его старался нескучно.

Если говорить о современной литературе в це лом, ученый пока не претендует на то, чтобы стать ее главным персонажем. Работа в науке не такая уж популярная и массовая…

Да, несмотря на общественную значимость таких фигур, как, скажем, Лихачев и Сахаров, центральным персонажем литературы ученый не стал. Вы правы, безусловно, и в том, что положение ученого сейчас не слишком высоко, упал социальный престиж профессии, не говоря уже об уровне зарплаты. Давно уже было объявлено, что средняя зарплата в науке составляет 30 тысяч рублей в месяц. Не знаю, кто именно получает среднюю зарплату, но жалованье доктора наук в академическом институте гораздо ниже. Наши же аспиранты получают 2100 (!) рублей в месяц: скажите, можно ли жить на 2100 рублей? Возвращаясь к литературе, предположу, что роль «маленького человека» в ней будет скоро играть не чиновник (он-то как раз живет неплохо!), а ученый. Из этой среды и потянутся в литературу новые Акакии Акакиевичи.

Профессор Никольский — научный руководитель главного героя и один из самых обаятельных персонажей романа. Есть ли у него прототипы? Сами Вы много лет работали под руководством академика Дмитрия Сергеевича Лихачева…

Никольский — это собирательный образ ученого, и Дмитрий Сергеевич его прототипом не был. Описывать Лихачева под

вымышленным именем я не стал бы уже потому, что у меня была возможность написать о нем самом: я посвятил ему несколько эссе. Кроме того, мне довелось собрать и издать книгу воспоминаний о Дмитрии Сергеевиче, в которую вошли тексты восьми десятков авторов — от Виктора Астафьева до принца Чарльза. Другое дело, что образ учителя — учителя в высоком смысле — формировался у меня под его непосредственным влиянием. Дмитрий Сергеевич — человек, очень много для меня сделавший — и в науке, и в жизни.

Расскажите, как на обложке «Соловьева и Ларионова» появился рисунок Михаила Шемякина.

Я познакомился с Михаилом Шемякиным и его женой Сарой де Кей много лет назад во время работы над одной из книг. Общение с ними стало одним из тех подарков, ценность которых со временем становится только выше. Шемякин — не просто великий художник, он глубокий и светлый человек. Раньше метафизика Петербурга отражалась Пушкиным, Гоголем, Достоевским, а сейчас, я думаю, она ушла из литературы в живопись и отражается Шемякиным. Его взгляд на мир мне близок. Питерские болота рождают особое семантическое и стилевое поле, в котором все мы здесь пребываем. Вероятно, ощущение этой общности и побудило меня обратиться к Шемякину по поводу рисунка для обложки. Я благодарен, что он его создал — тем более благодарен, что уже много лет Михаил не занимается иллюстрированием. Получив рисунок, я был поражен точностью его «попадания». Элементы конструктивизма замечательно соответствуют послереволюционной эпохе, в которую действовал генерал. Самого генерала Ларионова Шемякин связал с аспирантом Соловьевым колючей проволокой. Так отражена важная для романа мысль о неразрывном единстве исследователя с его темой, о неслучайности их соединения. Кроме того, в рисунке есть элементы текста, который при внимательном рассматривании можно прочесть. Но главное — абсолютное стилевое соответствие иллюстрации роману. Легкое, без вычур, искривление пространства. То, что искусствоведы обозначают выразительным словом «деформация».

Насколько достоверны исторические факты, описанные в романе «Соловьев и Ларионов»?

Хороший вопрос, я бы даже сказал — ключевой. Десятки лет я писал только достоверные вещи, и теперь мне захотелось чего-то недостоверного. Ни одного факта в моем тексте нельзя оставлять без проверки. Ни одной сноски. Но вот что меня в какой-то

степени оправдывает: прежде чем всё придумать, я тщательным образом изучил то, «как это было на самом деле» — иначе было бы просто нечестно.

Порой меня упрекали за недостоверность в романе тех или иных деталей или наименований. По иронии судьбы, речь в этих случаях шла о тех вещах, которые я позаимствовал из мемуаров очевидцев (например, генерала Слащева) или — если дело касалось современности — наблюдал сам. Это и понятно: подлинное выглядит неубедительно. Реализм «реалистичен» лишь в типическом своем проявлении (и в этом отношении он, конечно, не вполне реализм). Всё это, однако, не означает, что я хочу оспорить выдвинутые упреки. Нет, в серьезно понятом смысле я бы их даже поддержал.

Действие романа (говорю лишь о том, чем руководствуюсь сам) не должно существовать в одной плоскости с происходящим в реальности и вовсе не обязано симулировать эту реальность. Роман и реальность имеют разные задачи, а потому и разную структуру. Они пребывают в разных измерениях, и некоторая кривизна романного пространства призвана это подчеркнуть. Я не сторонник крайностей и вовсе не за то, чтобы роман превращался в сплошную фантазию, чтобы персонажи летали, а камни говорили. Мне лишь представляется, что критерий соответствия реальности не следует ставить во главу угла. Всё ведь зависит от задач произведения. Стремление к «достоверности» любой ценой способно деформировать художественную конструкцию до такой степени, что она попросту теряет смысл.

Есть ли какая-то связь между познающим себя через работу историком Соловьевым в Вашем романе «Соловьев и Ларионов» и Вами? Помогает ли писательская деятельность Вам лучше понять самого себя?

Несмотря на мое отличие от Соловьева, отношение к работе — тот пункт, в котором мы с ним сходимся. Да, через мою работу я познаю самого себя. Много лет такой работой было исследование и издание древнерусских текстов. Это благословенный труд, с которым я не собираюсь расставаться и впредь. Медиевистика — это смиренное следование за древними (и прекрасными) текстами, писательство же — собственное созидание, менее, полагаю, прекрасное, и некоторым образом — дерзость. Следует понять свои возможности и в том, и в другом.

О «Лавре»

Расскажите о замысле и воплощении романа «Лавр». Кого Вы видите своим читателем? И думаете ли о читателе, представляете ли его, когда пишите — или это совсем неважно?

Приступая к роману, я хотел рассказать о человеке, способном на жертву. Не какую-то великую однократную жертву, для которой достаточно минуты экстаза, а ежедневную, ежечасную жизнь-жертву. Культу успеха, господствующему в современном обществе, мне хотелось противопоставить нечто иное. Несмотря на «нравственную» проблематику, менее всего меня привлекала возможность учить: это не дело литературы, да и права такого мне никто не давал. Пока писал книгу — сам учился, мы с ней делали друг друга. Литература призвана изображать, а уж читатель решит, нравится ему изображение или не нравится, и что он вообще будет с ним делать.

Я понимал, что, взятый с нынешней улицы, такой герой будет неубедителен, а то и попросту фальшив. И я обратился к древней форме — к житию, предназначенному для такого рода повествования, только писал это житие современными литературными средствами. Как получилось — судить читателю. Говорю без всякого кокетства, потому что еще до конца не представляю, кто мой читатель, а уж тем более — что он скажет. За «образцового читателя», который по большому счету авторский клон, я был в целом спокоен, от него подвоха не ждешь. Мне была важна реакция людей иного опыта, темперамента, вкуса — текст-то, мягко говоря, своеобразный, а своеобразие идет как в плюс, так и в минус. Те отзывы, которые до меня дошли, радуют. Не в том смысле радуют, что я непременно хочу понравиться всем (такого не бывает), а в том, что не нужно, оказывается, заранее отказываться от кого бы то ни было, выводя его из числа возможных читателей. Ты говоришь с освещенной сцены, и в темном зале видишь первых три ряда, и подстраиваешься под них, а всё остальное воспринимаешь как чистое пространство. Когда же включают в зале свет, обнаруживаешь вдруг, что он полон. Я это о том, что всегда нужно говорить для полного зала и не считать, что где-то на галерке пустые кресла.

Вы назвали свой роман неисторическим. Значит ли это, что в нем есть исторические неточности, вольности, допущения, и тем самым Вы страхуетесь от обвинений в свой адрес, или здесь какой-то другой посыл?

История этой «неисторичности» такова. В традициях издательства — помещать на обложке «слоган», короткое определение особенностей книги, — что имеет свой смысл. Меня попросили такое словосочетание придумать. При оформлении обложки (очень, на мой взгляд, удачной) «слоган» оказался под названием и неожиданно для меня стал восприниматься как подзаголовок. Теперь я вижу, что по своему типу он действительно очень напоминает подзаголовок, хотя ни в коем случае таковым не является. В качестве части названия его теперь нередко фиксируют и в библиографических описаниях, что — ошибка, потому что по правилам библиографии книжные данные следует списывать не с обложки, а с титульного листа. Если же говорить о сути определения, то мне хотелось дистанцироваться от исторического романа, решающего, как правило, другие проблемы. При таком взгляде на вещи точность исторических деталей — дело второстепенное, хотя и в этом крупных ошибок я старался не допускать. Исторический роман — подобно детективному, фантастическому, любовному — принадлежит к так называемой жанровой литературе. Ее мотором является не столько характер героя, сколько сюжет — историческое событие, преступление, перемещение в будущее, адюльтер и т. д. В «Лавре» меня интересовала не история, а «история души». Определение романа как «неисторического» — это сигнал читателю. Рекомендация не искать в книге того, чего в ней нет.

На какие вопросы Вам особенно важно было ответить в романе «Лавр»?

Я скорее ставил вопросы, чем отвечал на них. Иногда правильно поставить вопрос важнее, чем на него ответить. Собственно, лучший случай — это когда на вопрос отвечают читатели — каждый по-своему. Это тот надтекстовый смысл, о котором я иногда говорю. А вопросов — много. Например, что такое время? Что такое любовь — не та любовь, которая, по мнению некоторых, «живет три года», а — Любовь?

Ваша книга вызывает интерес, и часто позитивный, у тех людей, которые обычно зевают или машут руками, заслышав слово «Бог». Как думаете, почему так происходит?

И верующие, и атеисты решают примерно одни и те же проблемы и отвечают на сходные вопросы. О сущности, а значит — о смысле — человеческой жизни. Если они делают это не агрессивно, без взаимных упреков и обвинений, они несомненно помогают друг другу. Потому что тот опыт, который им друг в друге кажется отрицательным, — это тоже опыт, и он очень

важен. Мой герой — человек сомневающийся, ищущий. В этом его беззащитность, но в этом и притягательность. Чтобы принять героя, читатель должен себя с ним отождествить, а как себя отождествить с безжизненным идеалом? Вопреки распространенному мнению, святой таковым никогда и не является. Почитайте жития — он в постоянной борьбе с самим собой.

«Лавр» не просто художественный текст, это роман как бы со сверхзадачей; роман из тех, которые пишутся, когда автор одержим идеей, что мир следует спасать. Не всякий ведь даже и писатель возьмется сочинять романы про юродивого, про святого.

Для меня этот роман стал совершенно неожиданным. Я понимал, насколько непростое занятие — писать о святом. Кроме того, никогда не думал, что как писатель вообще буду приближаться к древнерусским делам, хотя бы потому, что это моя профессия. По-человечески это понятно: когда начинаешь заниматься чем-то новым, стремишься всё делать так, чтобы это минимально соприкасалось с тем, чем ты занимался раньше.

Странно, мне кажется естественным — это как вот Эко пишет «Имя розы» как раз потому, что он разбирается в этом материале лучше, чем профаны. Вопрос в том, почему — при том, что Вы ведь тоже могли написать детектив — Вы написали роман про спасение души.

При всей моей любви к детективам я чувствовал, что у средневекового материала есть лучшее применение. Я почти тридцать лет занимался другим, средневековым миром — он очень отличается от современного. У этого мира есть много достоинств, которые, к сожалению, не видны: то, что мы знаем о Древней Руси по нашей литературе, часто имеет лубочный, неподобающий вид. Эта культура стала частью меня, а я — как это ни странно — ее частью, потому что продолжаю ее воспроизводить тогда, когда она уже стала историей. Если взять количество прочитанного мной в жизни, то древнерусских текстов окажется больше, чем современных. Просто потому, что по много часов в день я читаю древнерусские тексты. Постепенно я почувствовал, что у меня есть понимание того, как они строятся, — глубинное понимание. Мне кажется, что если бы меня перенесли в XV век, я был бы неплохим древнерусским писателем: я знаю, как тогда требовалось писать. Но поскольку меня в XV веке никто не ждет, я решил перенести тот опыт, который у меня есть, в литературу века XXI. Мне повезло в том,

что мой личный опыт вошел в резонанс с современным состоянием литературы. Я использовал множество древнерусских приемов, которые еще несколько десятков лет назад показались бы экзотикой и были бы литературой отвергнуты. А сейчас они оказались ко двору — современная культура была к ним подготовлена посредством постмодернизма. Совершенно по другой дорожке литература сейчас пришла к тем вещам, которые когда-то были основами средневековой поэтики. Но ято шел к ним со стороны Средневековья.

Вопрос не в этом. Вы говорите, как будто Вы имитатор.

Нет, я не имитатор, всё очень серьезно. Могу повторить, что был бы неплохим древнерусским писателем.

Но, послушайте, это Сорокин мог бы сказать про себя: «Я был бы неплохим древнерусским писателем». Но Вы же ведь не про то…

Тут речь вот о чем: помимо знания о литературе Древней Руси я получил то, что не достигается чистым изучением. Есть куча авторов, которые знакомятся с материалом и начинают писать роман. Недостаточно с ним ознакомиться, нужно в нем жить. За время занятий средневековой Русью я до некоторой степени и сам стал средневековым человеком. Разумеется, я охотно пользуюсь благами цивилизации и в целом неплохо ориентируюсь в происходящем сейчас. Но когда человек занимается много лет — и почти исключительно — делом, которое, мягко говоря, выглядит экзотически с точки зрения сегодняшнего дня, он приобретает какое-то особое видение. Своего рода профессиональную деформацию.

И все-таки: если б Вы были иностранным ученым, решившим расширить диапазон, и у Вас возникли амбиции за пределами научной сферы, Вы либо писали бы, как Эко, исторические детективы, либо, как Стивен Фрай, вели бы научпоппрограмму на ТВ про то, почему фамилия Гребенщиков означает то, а Черномырдин — се. Почему вместо этих очевидных стратегий Вы садитесь и пишете классический русский роман?

Применительно к русским писателям исследователи часто говорят о стратегиях «учителя нации», «властителя дум» — Вы к этому клоните? По ряду причин в нашей традиции это благодарная роль. Но на нее я как раз и не посягал. Знаете, я ведь пытался писать внутренне смиренно. И герой мой смиренный — он никого не пытается учить. Он настолько виноват перед Богом,

перед своей возлюбленной, перед миром — что думает: спасти бы хоть то небольшое, что ему как человеку было дано и что он потерял. И здесь я схожусь со своим героем: у меня нет права на учительство — ни духовного, ни морального, ни тем более литературного, — потому что не дело литературы учить. Описывая то, что делает или думает мой герой, я лишь хочу сказать, что есть и такой способ отношения к действительности.

Поговорим о повествователе романа. Он мне кажется довольно необычным.

Да, мой повествователь имеет два лица — средневековое и современное. И два сознания, соответственно. Мне нужно было добиться того, чтобы происходящее, с одной стороны, было погружено в Древнюю Русь, а с другой — в современность. И чтобы никаких швов. Такая «плавающая» позиция повествователя — вещь для литературы редкая, но в данном случае была необходима именно она.

В «Лавре» материализована такая невещественная энергия, как сила духа. Она связывает человека пятнадцатого и двадцать первого столетий, она же разрушает и понятие времени — так?

Ну да, мы смотрим на человека во времени и видим человека вне времени. Вне времени и пространства. Мне рассказывали, что этот эффект «Лавра» одна питерская студентка замечательно охарактеризовала словом «хронотоплес». «Лавр» — попытка упразднить время и пространство, точнее — показать, что всё достигается работой духа, если понимать свое время как часть вечности. Средневековый человек жил в вечности. Его жизнь была длиннее за счет того, что она была разомкнута, не было времени, не было и часов в нашем понимании. Время определяли по солнцу. И с пространством было иначе, чем сейчас. Дойти до Иерусалима было подвигом — настоящим, без кавычек. Но при этом люди понимали, что двигаться в пространстве не обязательно. И то, чего они хотят достичь за морем, вполне можно обрести и здесь. Вообще в Средневековье время не переоценивалось: в отсутствие идеи прогресса с его течением не связывали особых надежд. Исходили из того, что люди лучше не становятся, поскольку технический прогресс не приводит к улучшению духа и мысли. В определенном смысле личная история человека казалась важнее истории человечества: народы не совершенствуются, совершенствуются люди.

Почему в «Лавре» в поисках «своего» героя Вам пришлось

уходить так далеко, на несколько веков назад — потому, что привлекает этот исторический период, или потому, что в современности таких героев уже нет?

Мой уход в прошлое связан, скорее всего, с тем, что тогда существовала традиция описания «добрых людей» (используя выражение В.О.Ключевского), а сегодня она как-то растворилась. Это вовсе не значит, что «добрых людей» сейчас нет, просто описывать их всё труднее. Положительный герой — это вообще головная боль литературы Нового времени. Литература Средневековья таких проблем не испытывала — потому, может быть, что это была не совсем литература. Иными словами, для «положительно-прекрасного человека» я выбрал соответствующую ему историко-литературную среду. Разумеется, есть и другие пути, и современный материал, но для того, чтобы написать второго князя Мышкина, нужно быть известно кем.

Фигуры такого рода — как Рублев у Тарковского, как Ваш Лавр — обречены на то, чтобы быть альтернативной ролевой моделью, шокирующе контрастирующей с распространенными в современности? Получается, это беспроигрышный ход для художника: синтезировать такую фигуру?

Эту фигуру синтезирует не автор, а современное ему состояние общества. Всякое время образует свои пустоты, которые хорошо бы заполнить. В них автор заливает свой гипс — наподобие того, как это делали археологи с пустотами на месте тел в Помпеях, — в итоге образуются фигуры. И чем более фигура, скажем, Лавра контрастирует с современностью, тем более очевидна потребность в ней. Можно описывать свое время — всё, что в нем есть. А можно описывать то, чего в нем нет, — уйдя в другое время. Я так и поступил.

Что для Вас самое важное в Вашем герое?

Может быть то, что этот человек стал чужим по отношению к самому себе, стал кем-то другим, и не однажды, а многажды. Юродство чрезвычайно высокий подвиг, и вот почему. Святой уходит, избавляется от мира для служения Богу, зачеркивает для себя мир, чтобы остаться с Богом. Юродивый зачеркивает не только мир, он зачеркивает собственную личность, теряет ее, самоуничижается до крайних степеней.

…становится человеком без свойств? Но Лавр очень даже человек со свойствами!

Да, свойства остаются, даже когда голос превращается в эхо.

Эхо имеет свойства, тембр, оно персонально. Оно хранит голос человека, которого уже нет. История Лавра — высшая форма отречения от себя. Меня как-то упрекнули, что Лавр не вполне убедителен с церковной точки зрения, потому что действует не во имя Бога, а во имя своей погибшей подруги. Но я уверен, здесь противоречия нет. Любовь к Устине — и есть его любовь к Богу, и ради нее он отказывается от себя.

Самоотречение делает человека праведником?

Тут должно сложиться всё… С двух сторон это идет, и сверху, и снизу. И без благодати это не получается. Вспомним Киево-Печерский патерик, где, среди прочего, описывается жесточайшая аскеза, которая приводит к плохим результатам.

Почему главный герой книги «Лавр» именно врач? Есть ли прототип у Вашего героя?

Главный герой — образ собирательный, так что прототипы рассыпаны по множеству древнерусских текстов. Почему врач? Потому, наверное, что врач — это очень человеческое. Врач, священник, учитель — кто еще ближе к человеку? Сердце врача должно быть всегда оголенным, хотя это ох как непросто. Но мне посчастливилось видеть таких врачей — например, знаменитого мюнхенского эндокринолога Дитриха Хеппа. Ведь если боль и смерть рядом с врачом становятся рутиной, если 31 декабря он бухает в ординаторской — это плохой врач, а значит — и не врач. Здесь почти нет полутонов. Хороший врач — спаситель, плохой — преступник. Мало какие профессии очерчивают характер так резко, а литература (вернемся к ней) ценит яркие характеры.

Можно ли сказать, что источники романа по преимуществу — древнерусские?

По преимуществу, но не исключительно. Например, на роман повлияла одна из проповедей митрополита Антония Сурожского. Это рассказ том, как к нему на исповедь пришел белый офицер, который случайно убил свою жену во время боя. И сказал: я исповедался, мне отпустили грех, но мне ничуть легче не становится — что мне делать? И владыка Антоний ему ответил: Вы просили прощения у Бога, Которого Вы не убивали, — почему бы Вам не попросить прощения у своей убитой жены? И через некоторое время этот человек вернулся и сказал: я действительно это сделал, и мне легче теперь… Этот сюжет — мотив беседы героя с его умершей возлюбленной — я использую в романе как сквозной.

Как соотносятся в романе исторические факты и

художественный вымысел? Какая часть биографии Вашего Арсения-Устина-Амвросия-Лавра и людей, его окружающих, подтверждена документально?

Исторических фактов в общепринятом смысле в романе почти нет. Как ни странно, не так уж много в нем и художественного вымысла. Мой герой соединяет в себе черты множества людей, чьи описания содержатся в древнерусских текстах. И в этом смысле можно говорить, что герой реален, просто эта реальность идет другой, так сказать, нарезкой: в жизни она была выражена не одним человеком, а многими. В литературоведении это называют типичностью.

А присутствует ли в книге, в тех фрагментах, которые относятся к современности, автобиографический элемент (если не секрет)?

В романе мелькает молодой историк, человек нерешительный, с его несбывшейся любовью к русской немке — так вот, это не я. Моя жена, по совпадению, тоже — русская немка, но я, в отличие от героя, в свое время проявил настойчивость. Она училась вместе со мной в аспирантуре, и наш брак был моим первым научным успехом.

Помните ли Вы момент, когда к Вам пришла идея смешения эпох, параллельного использования древнерусских фраз и современных канцеляризмов?

Примерно полгода я обдумывал стиль этого романа… Обдумывал — плохое слово, оно подразумевает преимущественно рациональное начало, некое просчитанное решение — мол, сделаю-ка я вот так. Скорее, это были полгода ожидания, после которых я мало-помалу стал осознавать, что необходимую манеру письма нашел. Стиль в романе — один из главных героев. Он не должен был иметь отношения ни к историческому роману, ни к этнографическим экзерсисам. Это не должен был быть *сюсюк* в духе превратно понятого благочестия. Я мечтал о тексте, который бы читался не только глазами, но и душой, который бы раскрывал красоту русского языка в самых разных его пластах — временны́х, социальных и т. д., который бы, наконец, свидетельствовал об отсутствии времени.

В роман вкраплены фразы на языке XV века, не очень простые для понимания нефилологом. Вы таким образом «выбираете» своего читателя или скорее «создаете атмосферу»?

Язык древнерусских вкраплений — слегка адаптированный. Я

старался по возможности подбирать те древние слова, которые будут понятны современному читателю. В каком-то смысле архаика действительно использована для того, чтобы создать атмосферу. Но если бы я ограничился только архаикой, атмосфера, боюсь, стала бы удушливой — роман превратился бы в пошлую стилизацию.

Насколько Вам кажется продуктивным использование «докарамзинского» или даже «допетровского» слоя русской литературы в современной изящной словесности?

Как человек, занимающийся древностью, могу Вас заверить: эти слои неисчерпаемы. Подобно залежам угля, они заключают колоссальную энергию, важно лишь заставить их гореть.

Чем отличается писатель, реконструирующий утраченное состояние языка, от высококлассного имитатора-пародиста вроде Сорокина?

Сорокин тоже реконструирует утраченное состояние языка — не только архаичного, — притом что у него, конечно, условная архаика, но и языка Гончарова, Достоевского, Платонова. Сорокин — большой мастер, и мастерство его по своим задачам во многом деструктивно. Говорю об этом в положительном смысле: деструкция в определенные периоды нужна литературе как воздух. Сейчас же, на мой взгляд, эпоха демонтажа сменяется в культуре созиданием. Применительно к реконструкции языка это выражается в том, что на место эксгумации приходит воскрешение.

Примешивая в «Лавре» к древнерусской словесной вязи агрессивную современную лексику (в первую очередь, крепкие слова), Вы испытывали какие-то мучения, сомнения в том, стоит ли это делать?

Испытывал. Первоначально я хотел работать только с древнерусской *интонацией*, которую освоил за годы занятий медиевистикой. А потом решился на сальто-мортале — включение древнерусской *лексики*. Такое решение было опасным, поскольку оно могло обрушить мой текст в бездну китчевой литературы. Спасли от этого «крепкие слова», элементы сленга, канцелярита — всё то, что Вы справедливо называете агрессивной лексикой. В каком-то отношении всё это стало новым языком, который я изобрел для этого романа. Это сейчас я пытаюсь обо всем рассуждать как филолог, а когда писал — полагался только на интуицию, чувствуя, что иду по лезвию бритвы. В таких случаях интуиция — единственно возможный путь. Теории в

литературе ничего не создают, они лишь способны что-то объяснить впоследствии. И то не всегда.

В «Лавре» тема смерти — ведущая. В этой книге много написано о страхе отпустить человека, расстаться с ним, об эгоистичном желании никого не терять и о том, как на самом деле тяжело терять. Почему эта тема так громко звучит?

Любовь и жизнь — дар, а стало быть, то, чего можно лишиться. Когда любишь — боишься расстаться, когда живешь — боишься умереть. Этот страх не парализует, он конструктивен и позволяет лучше ценить то, что имеешь. Я бы вообще сказал, что страх смерти — одно из самых жизнеутверждающих чувств.

Один сюжетный ход мне в романе все-таки непонятен. Почему Амброджо так взволнован мифическим концом света 1492 года, если он видит будущее на пять столетий вперед?

Западным людям вообще свойственно сомневаться, и это, на мой взгляд, спасает их от многих бед. Возможно, Амброджо боялся запутаться в своих видениях или неправильно их истолковать. Строго говоря, чем выше информированность, тем слабее убежденность.

Вы как-то говорили, что у сотрудников Пушкинского Дома принято отписывать в завещании свои личные библиотеки по адресу: Макарова, дом 4. «Лавр» тоже там окажется? Как Вы думаете, он будет восприниматься скорее как экспериментальный исторический роман, про старину — или как роман о конкретной эпохе, начале XXI века?

С «Лавром» я решил не тянуть до завещания и подарил его в нашу библиотеку уже сейчас. Я думаю, что если этот текст будет кем-то читаться спустя время, то интересовать он будет прежде всего как портрет не той или иной эпохи, а отдельного человека. Так, по крайней мере, мне бы хотелось.

В романе использованы, среди прочего, средневековые травники, лечебники, в тексте описывается немало трав и их воздействие на человека. А реальные травки, те, что растут в наших лесах, Вы хорошо друг от друга отличаете?

Совершенно не отличаю. Тех, кого рецепты моего романа заинтересуют, отсылаю к древнерусским текстам (преимущественно, кстати, немецкого происхождения), которым я следовал. Мой единственный комментарий к сюжету подобен бегущей строке ТВ: не пытайтесь повторить это самостоятельно.

Что бы Вы назвали самым странным и необычным из того, что происходило с Вами в процессе написания «Лавра»? Может, пропадали фрагменты текста или, наоборот, появлялись в нем слова, которых Вы не писали, и т. д.?

Нет, ничего не пропадало и ничего не появлялось. В тех сферах, где я пытался искать ответы на вопросы, такие фейерверки не случаются. Там спокойное предстояние вечности, и всё в абсолютной норме.

О литературе

В романе «Соловьев и Ларионов» главный герой, стоя по грудь в море, которое он безумно любил, «испытывал сомнения насчет того, не в слишком ли интимных отношениях пребывает он с предметом своей любви». Сквозь иронию мне мерещится намек на Ваше отношение к литературе. Долгое время Вы держали дистанцию, изучали ее, любовались ею, сделались доктором филологических наук. И не потому ли Вы не спешили писать, что боялись слишком близких отношений с литературой? Что Вас останавливало?

Вы правы, к большой любви страшно прикасаться. Положишь ей руку на колено — и всё разрушится, превратится в рутину. Иногда созерцательное отношение гораздо более чувственно. Оно учит ценить интонацию, случайное прикосновение. Вместе с тем, созерцание не должно быть бесконечным, потому что плод дает все-таки не оно.

Развивая тот же образ, следует сказать, что прочный брак заключается в период духовной зрелости, а не половой. Так, на мой взгляд, и в литературе. Навыки создания текстов, как и возможность продолжения рода, человек обретает в довольно раннем возрасте. Но эти опыты — даже вполне состоятельные стилистически — еще не означают, что брак автора с литературой заключен. Важна духовная составляющая, некое силовое поле, в котором созданная конструкция оживает. Создание литературного произведения (поскольку всякий автор — демиург) неизбежно напоминает сотворение человека: в созданного из персти Адама вдувается жизнь. Делать глиняных человечков не так уж сложно, но ведь главная задача — заставить их двигаться.

Мне не близки произведения, в которых язык бежит впереди мыслей и чувств. Я не говорю, что это преступление. В конце концов, издается множество книг, являющихся, в сущности, феноменом языка или, точнее, стиля. Но содержание их обеспечено не столько личностью автора, сколько литературной традицией.

Если бы Лихачев был жив, если бы этот кокон, которым был Пушкинский Дом, сохранился в идеальном виде, Вы бы стали писателем? Современность вообще заинтересовала бы Вас?

Думаю, стал бы. Дело в том, что у каждого человека

существует внутренняя логика развития. Это только кажется, что поезд внезапно сменил колею. На самом деле, стрелка была уже давно переведена. Я обратился к литературе не потому, что наука изменилась, — изменился я. Вообще говоря, обращение к писательству не может быть произвольным, для всякого высказывания должна возникнуть необходимость. Помните старый анекдот о лорде Генри, который до тринадцати лет не говорил — и вдруг произнес фразу: «Однако, сэндвич подгорел». Сбежался весь дом, все стали спрашивать: «Лорд Генри, почему вы молчали тринадцать лет?» И он ответил: «Потому что тринадцать лет с сэндвичами было всё в порядке».

Но это и есть мой вопрос: Вы стали писать потому, что с сэндвичами стало не всё в порядке?

Я бы сказал так: сэндвичей стало не хватать, я по чувствовал голод. Появилось то, что не помещалось в исследования хроник и хронографов, что потребовало иного языка выражения. Более того, я бы сказал — появилась потребность в том языке выражения, который включает в себя иррациональное. В научном труде смысл равен тексту, в труде же литературном возникает и надтекстовый смысл. Это в некотором отношении взгляд за горизонт.

Как появляются такие особенности зрения?

Как дальнозоркость — с возрастом. При осмысленном отношении к жизни возраст — это одно из имен опыта. И в каждом возрасте возникают новые вопросы к жизни.

Вы проводите какие-нибудь параллели между собой и главными героями своих романов? Много ли у Вас с ними общего?

Создание литературного героя уподоблю отцовству. Автор предоставляет героям некий генетический материал, и закономерно возникает ожидание (в том числе у самого автора), что страницы романа будут усеяны маленькими авторскими копиями или копиями отдельных его черт. Когда же эти человечки появляются на свет, выясняется, что они не очень похожи на автора. Потому что зачатие — процесс двусторонний, и в качестве партнера автора выступает то, что мы называем «объективной реальностью». Эта реальность, сидя в голове у всё того же автора, вынашивает и формирует плод, именно она делает героя неуправляемым. Когда же автор волевым образом вмешивается «от себя», он, на мой взгляд, добавляет не столько то, что ему, автору, свойственно, сколько то, что ему

несвойственно: своего рода компенсирующая функция литературы. Сходство автора с героем чаще всего обманчиво.

Смотрю на подпись: автора этого вопроса зовут Евгений. В нашем с Вами диалоге, Евгений, можно было бы обнаружить феномен двойничества, но такой вывод был бы поспешным. Если Вы, возможно, что-то обо мне знаете, то я о Вас — несмотря на то, что сам Евгений, — не знаю ничего. Таково примерно отношение героя к автору.

У Вас очень зоркая проза, в ней множество визуальных впечатлений героев и связанных с этим ощущений. Это роднит Вас с Набоковым. Похоже, он в свое время произвел на Вас большое впечатление, хотя стиль у Вас свой, не набоковский. Как Вам удалось не попасть под его интонационное влияние?

Со временем я стал понимать, что сила литературного произведения состоит не только в технических возможностях автора. Тот универсум, который создает автор, «подчеркнутым» стилем до некоторой степени разрушается. Этот стиль разоблачает текстовую, искусственную, природу созданного мира.

Мне кажется, что Набоков достиг максимума того, чего можно достичь посредством стиля. В юности, когда читательский опыт был богаче жизненного, набоковские тексты вызывали у меня радостное изумление. Сейчас я тоже отдаю ему должное, но, скажем так, гораздо спокойнее. «Вкушая» Набокова, я не всегда чувствую сытость: так после пирожных иногда хочется хлеба. Разумеется, я пишу, держа в голове стилевой опыт великих, но уже не боюсь «въехать» в Набокова или в кого-то другого. Этот страх свойствен юности, когда собственное ядро еще не сформировано, и можно легко перенять чейто стиль. Ведь по сути стиль — производное от этого ядра. Его излучение.

Недавно, обсуждая с одним знакомым роман «Соловьев и Ларионов» и хваля его, я услышала: «Это потому, что у тебя уже ностальгия по ушедшему постмодернизму». Мне эта мысль показалась забавной, потому что не могу себя назвать поклонницей постмодернизма. Из русских прозаиков, к которым можно применить этот термин, я очень люблю только Венедикта Ерофеева и Сашу Соколова. Читая Вас, я, конечно, замечала некоторую постмодернистскую отстраненность и пастиш, иронию, но скажите, Вы считаете себя постмодернистом? И какие у Вас отношения с вышеназванными писателями?

Не могу сказать, что «чистые» постмодернисты мне как-то по-

особому близки. Постструктуралистское заявление о том, что автор — инструмент языка, ими было понято слишком буквально. Философия художественного творчества учит нас (из современных авторов это хорошо выражено у о. Владимира Иванова), что у настоящего произведения должен быть свой эйдос, первообраз, выражением которого это произведение является. Один из недостатков постмодернизма (а у него, разумеется, есть и свои достоинства) заключается в том, что за стилевой эквилибристикой порой ничего не стоит. Такая себе рама без портрета. Другое дело, что какие-то характерные для постмодернизма приемы могут быть использованы для отражения эйдоса. И это — случай Венедикта Ерофеева и Саши Соколова. Вещи их — настоящие, боль — невыдуманная, а всё остальное — вопрос средств выражения.

Что касается моих предпочтений как человека пишущего, могу сказать, огрубляя, что ценю реалистическое сюжетное повествование. Из чего, разумеется, вовсе не следует, что я должен писать, как Мамин-Сибиряк. Я учитываю современную литературную технику, и иногда — как в хорошем автомобиле — мне доставляет удовольствие нажимать на разные ее кнопки и педали. Важно лишь не забывать, куда едешь.

Какие тенденции в современной литературе кажутся Вам наиболее интересными?

Мне интересны те тенденции, которые указывают на возвращение литературы к нормальному состоянию. Литература переломных эпох — нервная, публицистичная. Даже спустя десятилетия чувствуется, что автора трясет. Я не против переломных эпох как темы, но хорошо это получается только тогда, когда пишущий достигает внутреннего равновесия. А для этого требуются перемены в общественном сознании, которым, в свою очередь, необходимо время.

Вспомните, какими мы были еще недавно: голодными, растерянными, истеричными. Наша литература скрежетала от «жести», а мы читали ее, противоестественным образом успокаиваясь, потому что ее картинки были страшнее реальности. Литература начала проверять границы дозволенного — в этическом и эстетическом измерениях — и не обрела их. Знаете, мне кажется, что от всего этого читатель уже устал. Он хочет добротных («добро» здесь очень кстати) и по-хорошему литературных вещей. Так после демобилизации тянет надеть костюм.

Какая тема в литературе кажется Вам самой интересной?

Смысл жизни. Повторю со всей серьезностью: смысл жизни. Захватывает сильнее детектива.

Что происходит с современной отечественной литературой — лучшей, я имею в виду, почему так мало не то что великих, просто хороших романов появляется?

Переломные эпохи — не лучшее время для литературы. Возьмите, скажем, Петровскую эпоху или время большевистского переворота. Писать по-прежнему уже нельзя, а как по-новому — еще не очень понятно. Это не значит, что в такие времена не бывает хороших произведений — несмотря на избыточную нервность, публицистичность, они появляются. В эти времена труднее всего приходится роману, который на одних эмоциях не напишешь. Это дальнобойное орудие, которое требует дистанции (вспомните, когда был написан лучший роман о войне 1812 года). Мы сейчас живем после очередного катаклизма, землетрясения, вызванного распадом СССР. Текущий момент можно определить как «послетрясение» (так я русифицирую сомнительный термин «афтершок»). Подземные толчки еще ощущаются, но почва уже тверда: общество с постсоветской реальностью в целом освоилось. Герои романов привыкают к спокойной обстановке, когда мотором действия являются не пожар или киллер, а, так сказать, внутренние ресурсы персонажа. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении.

В чем Вы видите главное жизненное призвание писателя?

Быть чем-то вроде блюдца на спиритическом сеансе. Крутиться в центре стола и составлять из букв тексты. Писатель не обязан быть самым умным (встречаются ведь и глупые писатели), но должен уметь конвертировать бытие в слово. Писательство — это, по сути, называние. Присвоение слов тому, что волновало, но оставалось безымянным — будь то соленая хрупкость кожи после пляжа или проветривание (морозное марево в форточке) больничной палаты. Первым писателем был Адам, которому Господь дал право наименовать окружавших его животных. Давая животным имена, Адам перевел их из единичного в общее — и сделал достоянием всех. Дело писателя — ловить музыку сфер и распространять ее в нотах. Быть, если угодно, «лучшим акыном степи»: петь о том, что видит. Что, подчеркну, видят и все там живущие. А поет — только он, потому что он способен превращать степь в текст.

Считаете ли Вы, что автор несет моральную ответственность перед обществом за свои книги и тот эффект,

который они производят?

Конечно, несет. А потому должен, вопреки поэтическим текстам, предугадывать, как отзовется его писательское слово.

Писателям, особенно русским, любят задавать вопросы на глобальные темы. Вам интересно на таковые отвечать? Испытываете ли Вы при этом какой-то дискомфорт?

Да, такие вопросы любят задавать — особенно в последнее время, когда слово писателя в России снова обретает прежнюю значимость. Ни одна из встреч с читателями не обходится без вопроса о том, куда идет Россия. В таких случаях я предлагаю обращаться еще выше, но понимаю, что от этой шутки никому не становится легче. И тогда я говорю спросившему, что Россия, на мой взгляд, начинается в нем, чтобы он уладил дела в своей семье, на своей лестничной площадке, а Россия уже по ходу дела подтянется. Разумеется, глобальная картина должна где-то маячить, но плохо, когда она закрывает от тебя простые и понятые вещи. Ты можешь улучшить страну в целом? Нет? Тогда не держи этот вопрос на повестке и делай то, что зависит от тебя. В этом отношении видеть за деревьями лес не всегда необходимо.

Сложно ли стать популярным писателем?

Сложность в том, что непонятно, каким образом это происходит. Опытнейшие издатели часто не могут сказать, какая книга «выстрелит». Это совершенно загадочное явление: в тех или иных текстах есть всё — модный тренд, хорошо написанные диалоги, лихо закрученный сюжет, но это — не работает. Книгу не покупают. А в иных текстах ничего вроде бы и нет особенного, они же — глядь — становятся мировыми бестселлерами. Сейчас кажется невероятным то количество отказов, которое получила Джоан Роулинг, пытаясь опубликовать свою сказку. Литературное произведение — это скрещение двух миров, писательского и читательского. Когда хорошее качество текста вплотную сходится с читательским ожиданием, тогда возникает бестселлер. Важно лишь ни под кого не подлаживаться: когда автор пытается угадать настроение читателя, как правило, ничего не получается. Нужно слушать свою внутреннюю музыку.

Что Вы думаете о литературных премиях в нынешней России? Есть мнение, что их слишком много, что они большей частью несправедливы, даются только своим? Надо ли писателю о премиях думать и к ним стремиться?

Я думаю, что премии полезны. Как и во всем остальном на свете, в литературе нет равенства. Иерархии, которые

выстраивают премии, в целом, на мой взгляд, соответствуют действительности — по крайней мере, в своих коротких списках. Можно спорить о том, как распределились места в итоговом решении, но в том, что шорт-лист, как правило, определяет «группу сильных», больших сомнений нет. Причем если этого не делает одна премия, то с большой вероятностью сделает другая — поскольку премии у нас очень разные. Премий к тому же много, так что невод получается довольно частым, и большая рыба обычно не уходит. При этом нередко шорт-лист кочует с небольшими изменениями из одной премии в другую, что, собственно, подтверждает объективность выбора. Премия — это ориентир для читателя и денежное подспорье для писателя — как в виде дополнительных тиражей, так и в виде прямых выплат. Отсюда вывод, что премия — вещь, с какой точки не посмотри, полезная. Другое дело, что в сознании писателя сама мысль о ней должна возникать лишь после того, как на последней странице его текста просохнут чернила. Писатель должен видеть только своего внутреннего читателя или, как сказал бы Умберто Эко, «образцового читателя». И если кто-то пишет «под премии», это вина не премии, но пишущего. Разве существование любви за деньги — это повод отменить деньги?

Как Вы считаете, испытывает ли сейчас читатель нужду в чтении книг? Есть ли проблемы?

Есть проблемы, но есть и надежды, на мой взгляд. Лет десять-пятнадцать назад мне казалось, что книг больше не будет читать никто и никогда. Казалось, что книгу вытеснили технические новинки — от телевидения до компьютера, — но на самом деле похороны книги были преждевременными. Прежняя книга занимала, на мой взгляд, слишком много места, она была тем чтением, которое служило источником информации, развлечения и много чего другого. Сейчас целый ряд функций у книги отобран. Например, для развлечения гораздо проще включить компьютерную стрелялку, чем читать изнурительное описание стрельбы в триллере. Но триллер в большинстве случаев и раньше был литературой лишь номинально. Вместе с тем, есть свойство, которое у книги никогда не отнимут. Книга — средство познания мира, бытия, смысла жизни. Словесное выражение мысли никогда не исчезнет, потому что самые сложные вещи можно выразить только словом. Любая культура словоцентрична.

Совершенно очевидно, что люди — особенно молодые люди — сейчас мало читают.

Один и тот же человек в различных возрастах может быть то

читающим, то нечитающим или — читающим, но совершенно уже другие вещи. По моим наблюдениям, молодые люди более склонны к общению друг с другом, чем к чтению книг, — это нормально. Книга — это, конечно, тоже общение, но особого рода, оно осуществляется в вечностном измерении. В молодости требуются конкретные и оперативные ответы, и если уж их пытаются где-то вычитать, то скорее в социальной сети, а не в книге. Но со временем становится ясно, что сеть и книга очень по-разному насыщают: разница примерно та же, что между семечками и хлебом. Приходит день, когда хочется хлеба. И тогда начинают читать Шекспира, Сервантеса, Толстого, и античные драмы, и древнерусские жития.

Читают ли русских писателей за рубежом?

Читают, но весьма умеренно и преимущественно — классику. Русская классика на иностранных читателей повлияла двояким образом. С одной стороны, она выдвинула русскую литературу в авангард мирового литературного процесса. С другой стороны, на Западе я неоднократно сталкивался с сомнениями того плана, что стоит ли читать современных русских писателей, если уже есть Толстой и Достоевский. Несмотря на определенную наивность таких сомнений, в них есть свой смысл. Толстой и Достоевский находили те нервы эпохи, которые отзывались и в России, и на Западе. Мы, нынешние, таких нервов не находим. То, что мы пишем, очевидно, не имеет универсального измерения. И когда появятся те люди, которые способны будут в этом измерении писать, тогда появится интерес к современной русской литературе.

Есть ли у Вас книги, которые Вы можете в любой момент открыть на любой странице и в сотый раз перечитать? Книги-друзья?

В детстве перечитывание было моим любимым занятием. Прочту книгу и сразу же берусь за нее снова — ужасно не хотелось расставаться с ее героями. В детстве (как, кстати, и в Средневековье) в книге ищут ведь не новое, а, наоборот, — знакомое. Проживают его в очередной раз. В нынешнем моем возрасте что-либо перечитываю очень редко, да и любимых книг всё меньше. Сейчас появляются книги, которые ценишь, которыми восхищаешься, но *любимые* возникали только в детстве — и их я могу перечитывать. Это были недетские книги, потому что когда-то они писались для взрослых. Есть такой странный литературный закон, по которому хорошие взрослые книги — не все, конечно, но многие — со временем превращаются в хорошие

детские. Они рождают великий интернационал тех, кто читал «Айвенго», «Трех мушкетеров», «Таинственный остров». У читавших эти книги общий читательский, а значит, и жизненный опыт, ведь два этих опыта для культурного человека неразделимы. Одна из самых любимых моих книг — «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, своего рода история блудного сына. На всех ее описаниях лежит печать подлинности и первозданности, о чем бы ни шла речь — о вере, труде, дружбе, стойкости и даже, возможно, людоедстве. В ней каждый находит свое — от тех, кто устал от общения и мечтает о необитаемом острове, до тех, кого в литературе раздражает обилие сюжетных линий. «Робинзон Крузо» — маленькая модель мира, доказывающая, что личная история в сравнении с историей всеобщей не менее значительна. Она тоже способна творить мир — не такой, может быть, масштабный, но уж никак не менее богатый.

Как вы относитесь к мату в литературе? Допустимо это, или все-таки в литературе должен быть «литературный» язык?

К мату я отношусь как филолог, то есть отдаю себе отчет в том, что есть и такой лексический пласт. А раз он есть, значит, существуют ситуации, когда он востребован — как в литературе, так и в жизни. Ну, скажем, когда вам на ногу роняют тяжелый предмет. Или намереваются построить в Петербурге небоскреб. Но ведь такие неприятности случаются нечасто, верно? Русский мат — это очень сильный инструмент, потому что табуированность его выше, чем у ругательств в других языках. Если уж его и употреблять (а я здесь не принадлежу к энтузиастам), то — правильно, используя всю его энергетику. Нет ничего хуже использования мата в качестве слова-связки. Или общего фона литературного произведения. Мат сразу сдувается, становится беспомощным и жалким. Напоминает диктатора в изгнании.

Существует идея, что Средневековье, ни в чем, казалось бы, не близкое нам время, содержит некие формы нынешних вещей и явлений, то есть, повторяется на наших глазах.

Еще Бердяев основывал идею нового Средневековья. Девяносто лет назад он написал работу о дневных и ночных эпохах в жизни человечества. Дневные эпохи (античность, например) яркие, брызжут энергией, искрятся. А ночные — эпохи внутренней работы, собирательства, переживания дневных впечатлений и снов. Средневековье он считал ночной эпохой, когда человек направлен не столько вовне, сколько внутрь себя

или на Бога. Бердяев видел признаки того, что на смену блистательному, выполнившему много задач Новому времени придет эпоха большего внутреннего сосредоточения.

Я не философ, и не в моей компетенции обсуждать проблему в целом, но если обратиться к жизни слова, можно увидеть поразительные вещи. Для Средневековья характерны отсутствие идеи авторства, внеэстетическое восприятие текста, его центонная структура, фрагментарность, отсутствие жестких причинно-следственных связей и границ. Всё это мы видим и в новейшей литературе. Видим провозглашенную Бартом смерть автора — центонный текст постмодернизма, видим фейерверк стилевых и текстуальных заимствований, как в Средневековье, когда заимствовали не просто идеи или описания, а собственно текст. Новое время — и это было чрезвычайно важно — преодолевало коллективное сознание, оно было временем роста персональности. Теперь коллективное сознание возвращается в литературу в виде многочисленных цитат, явных и скрытых. Как литературовед, я (и не только я) фиксирую возвращение средневековой поэтики в широком масштабе. Всё, что выработало Новое время, — портрет, пейзаж, художественность, психологизм — становится для современной литературы вещью по-средневековому необязательной. Это уже не нуждается быть выраженным, а может подразумеваться имплицитно. Интернет вновь разрушает границы текста, установленные было Гуттенбергом, он также возвращает и к отсутствию границы между литературой профессиональной и непрофессиональной. И что, как не средневековая литература «реального факта», аукается в сегодняшнем напряженном внимании к нон-фикшн?

Никогда не приходилось слышать, что древнерусская литература… ну, скучновата?

Еще как приходилось… Один английский коллега сказал мне: что вы носитесь со своей древнерусской литературой, когда великая русская литература началась с XIX века… Я ему ответил: великая/не великая — не научная категория. Великая литература в любом случае возникает не на пустом месте. Если бы не было семи веков русской литературы до того, как она стала великой, ничего бы не было и в XIX веке. Древнерусская литература — это совершенно особый мир. Строго говоря, это не литература.

Вот это да! А что же?

Я предпочитаю слова «книжность» или «письменность». А «литература» относится к Новому времени. И в этом нет ничего уничижительного. Просто древнерусская письменность — вне

эстетики, средневековое восприятие по сути своей внехудожественно. До XVII века было, условно говоря, гораздо важнее «что», чем «как». Кстати, и во времени древнерусской письменности были люди, которые писали хорошо, но для них это не было главным. А понятие художественности возникло уже в Новое время. Автор стал осознавать стиль как явление самоценное. Вот тогда литература стала авторской, а до этого была анонимной. Были свои исключения: отцы церкви, пишущие цари, какие-то выдающиеся люди, но…

…но всех их можно пересчитать по пальцам, и одной руки хватит!

Это точно. Древнерусская литература существовала по своим — удивительным! — законам. Это то, что великий византинист Карл Крумбахер назвал литературным коммунизмом. К чужому относились приблизительно так: хороший текст, почему не использовать? Средневековый текст был принципиально незавершенным и не обладал границами, он мог дописываться, меняться — всякий раз за счет других произведений и нового знания. Человек мог позаимствовать до девяти десятых, но при этом он ведь не обозначал своего авторства! Ему важно было, чтобы слово было сказано, а уж кем и как — большого значения не имело.

Об истории и обществе

Вы ведь не только филолог, но — как исследователь древности — и историк? Какие из достигнутых результатов считаете наиболее важными?

Я исследую разные тексты — хронографы, хроники, жития. Самым значительным из того, что я сделал в этой сфере, пожалуй, можно назвать книгу «Всемирная история в литературе Древней Руси», первое издание которой вышло в 2000 году в Мюнхене, второе — в 2008 году в Санкт-Петербурге. В этой книге я рассказываю о том, как воспринимали историю в Древней Руси. Как, знакомясь с сочинениями византийцев, учились писать свою собственную историю. Следует также помнить, что история тогда и история сейчас — это разные вещи. Сегодня это систематически изложенные сведения о том, что было раньше, — с более или менее удачным реальным комментарием. В таком изложении нет метафизики. В Древней Руси было не совсем так: история являлась в большей степени богословием. Она исследовала, как воплощается Божественный замысел в отношении человечества. Естественно, при таком взгляде на историю на передний план выходил нравственный аспект, поэтому в древнерусской истории можно найти такие вещи, которые современный историк никогда бы не счел историческими фактами.

За века лучше мы не стали?

Так никто такого и не обещал. Конечно, существует забавное выражение «с высоты нашего времени», то есть все они убогие — там, а мы, продвинутые, здесь. Но средневековый взгляд на дело прямо противоположен. Там сознание не перспективно, а ретроспективно: высшая точка истории — воплощение Христа; всё, что после этого, — удаление. Мы, нынешние, всё те же, разве что с квартирным вопросом стало чуть легче. Мы летаем на самолетах и пользуемся мобильниками, но вопрос, зачем мы живем и зачем умираем, от этого не исчезает. У человечества — особенно в последний век — есть замечательные научные открытия, которые производят сильное впечатление. Нам кажется, что мы мчимся со скоростью курьерского поезда, это бодрит, но в решении основных вопросов мало продвигает к цели. Дело даже не в том, что путь далек — хуже то, что не всюду проложишь рельсы. Рациональный тип познания имеет свои границы — это я говорю как человек, посвятивший свою жизнь науке. Перед основными «почему» и «зачем» мы так же беспомощны, как люди Средневековья.

На Ваш взгляд, чем люди Средних веков отличались от современного человека — в самом главном?

Другим ощущением времени. Дело не только в том, что люди Средневековья быстрее нас взрослели, меньше жили, что день их был менее насыщен событиями и счет минут был им не нужен. Важно, что время их всегда было разомкнуто взглядом *sub specie aeternitatis*, с точки зрения вечности. Такой взгляд я бы посоветовал иметь писателю. Хороший писатель всегда должен быть немножко не здесь.

Ваша книга «Лавр» заканчивается вечным вопросом: «А вы-то сами свою страну понимаете?» и вполне логичным ответом: «Сами мы ее, конечно, тоже не понимаем». А Вы свою страну понимаете? Пытаетесь понять? Ищете разгадку?

Ищу, конечно, но делаю это иначе, чем, скажем, лет еще пятнадцать назад. Тогда я пытался рассуждать в категориях истории, теперь ищу ответы на уровне персонального. С точки зрения истории трудно, например, объяснить, отчего русские бунты возникали в не самые сложные по нашим меркам годы — в 1905-м, 1917-м, а в гораздо худшие времена народ безмолвствовал. Объяснение, наверное, следует искать не в политической, а в духовной истории народа, которая в основе своей глубоко персональна. Точно так же сейчас мы удивляемся, что у нас не прививается демократия западного типа, и не обращаем внимания на то, что уровень персональной ответственности у нас гораздо ниже западного, а без личной ответственности настоящая демократия невозможна.

Почему, как Вы думаете, нашим современникам явно нравятся романы про старину — в диапазоне от Алексея Иванова до Колядиной? Вот во времена Вальтера Скотта понятен был этот феномен успеха: романтика, поиски национального самосознания, противоядие от современного буржуазного прагматизма. Но у Вас прошлое и современность шокирующе похожи друг на друга; почему же людям всё равно это кажется любопытным? Просто чтоб убедиться, что во все времена люди одинаковы?

Знаете, есть два основных типа отношения к истории. Одни ищут в прошлом то, чего нет сейчас, другие — наоборот — то, что существует и в современности. И то и другое приводит к захватывающим открытиям. В своих занятиях историей я в разное время принадлежал к обоим типам. Сейчас же я всё больше склоняюсь к мысли, что история — это не более чем сцена,

которая предоставляется каждому для его неповторимой роли. Костюмы, декорации — всё это выдается каждой конкретной эпохой и от человека не зависит, как не зависит от него и игра других актеров. Единственное, за что человек отвечает, — это его собственные действия, и вот здесь-то следует проявлять предельную сосредоточенность. Иными словами: история всеобщая есть лишь фон для истории личной. Личная история для человека как индивидуальности — самая важная. Да, мой пятнадцатый век порой не очень-то отличим от века двадцать первого, но это говорит не о сходстве эпох, а о сходстве людей. О том, что в любом времени жизнь человека строится примерно по одним и тем же законам, он делает те же открытия и ошибки, любит, ненавидит, предает, раскаивается, завидует. А в каких исторических костюмах он всё это делает — не так уж и важно.

Профессор Никольский из «Соловьева и Ларионова» призывает события всемирной истории оценивать критерием не прогресса, а нравственности. Вам самому дорога эта мысль? Кто-то назовет ее утопической, неосуществимой…

…и будет совершенно неправ. Оставляю за скобками метафизическое измерение нравственности и ограничусь прагматическими соображениями. Нравственность — это регулятор отношений. Что-то вроде общественного светофора. Она поддерживает равновесие, без которого не может существовать ни одна система — будь то межличностные отношения или межгосударственные. Есть безнравственные вещи, которые на короткой дистанции кажутся выгодными. На деле же они изначально несут в себе вирус разложения, оказываются тем слабым звеном, которое губит созданную конструкцию. Ведь если эта конструкция ущемляет чьи-то интересы, ее непременно будут расшатывать.

Государственные деятели во всем мире говорят о нравственности в политике и в душе смеются над сказанным, считая это политическим фольклором. Им кажется, что они — большие ловкачи, что обладают той полнотой информации, которая позволяет им плевать на нравственную сторону дела. Да, знание их обширно, но — не глубоко. Если бы они хоть в какой-то степени знали всемирную историю (а политика — ее передний край), они, возможно, поступали бы иначе. Я много лет занимаюсь средневековыми хронографами. Для понимания современных событий я нахожу там подчас больше материала, чем в газетах.

Что нужно сделать, чтобы жизнь в стране стала чуть

лучше? Что для этого делаете Вы?

Нужно, чтобы каждый занимался своим делом. В сфере моей прямой ответственности — изучении древнерусских хронографов — дела идут неплохо. Осталось подтянуть остальные сферы.

Каковы Ваши политические взгляды?

У меня их нет. По крайней мере — нет такой их совокупности, которую я всегда мог бы предъявить. Я не принимаю ни одну политическую идеологию как систему. Отдельные положения идеологий могут быть вполне симпатичными. Так их и нужно обсуждать — по отдельности, но, честное слово, не стоит ничего принимать в пакете. Ни одна идеологическая система полностью не укладывается в границах нравственности: что-нибудь обязательно выпирает. Политическая идеология — это своего рода комплексный обед. Так вроде бы и дешевле, и мороки меньше, да только обязательно подадут и то, чего не любишь. И проследят ведь, чтобы всё съел, — такая это кухня.

Считаете ли Вы, что писатель должен откликаться на происходящее вокруг?

Не знаю… Можно, наверное, и откликаться. Важно при этом не превратиться в собаку Павлова.

Сейчас, когда мы с Вами разговариваем, вовсю бурлит Майдан в Киеве, где Вы родились. Как Вы относитесь к очередной украинской революции?

Я не поклонник революции как таковой. Это не лучший способ решения общественных проблем. Несмотря на красивую фразу о том, что революции — локомотивы истории, эта самая история упорно показывает, что в какой-то момент локомотив обязательно идет не туда. Но самое печальное в этом виде транспорта то, что с него уже не соскочить. Когда оказываешься в людском потоке, начинают работать совсем другие законы, безжалостные и от тебя не зависящие. Поэтому я, как персоналист, считаю, что в такие моменты надо блюсти себя и не очень-то сливаться с массами. Хочешь сделать добро обществу — борись с бесами в себе самом, их там достаточно. А всякая попытка исправлять зло в целом, спасать мир глобально мне кажется довольно бессмысленной. Пока мы такие, какие мы есть, — каждый персонально — все общественные перестройки имеют второстепенное значение. Именно поэтому, по выражению незабвенного Виктора Степановича Черномырдина, какую бы партию мы не создавали, получается КПСС.

Когда-то я был весьма социальным человеком — выходил защищать Ленсовет в августе 1991-го. Сейчас мне это не то чтобы смешно (я с пониманием отношусь к себе тогдашнему), но с трудом представляю себе, что мог бы сейчас стоять на баррикадах. Это не страх: с возрастом я всё меньше чего-то боюсь, тут дело в ином взгляде на жизнь. С определенным опытом возникает вопрос: можешь ли ты повлиять на глобальные вещи — например, на то, что происходит в той или иной стране, в моем случае — России? Теоретически, можешь — как одна ста сорока миллионная часть населения страны. Но единственный процесс, на который ты можешь повлиять существенно, — это процесс в тебе самом.

Вам должно быть близко высказывание Пушкина, писавшего в 1833 году: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества».

Я подпишусь здесь под каждым словом. В какие порядки ты ни выстраивай людей и сколько раз ни меняй власть — новые комбинации, как в басне «Квартет», особых результатов не дают. Вообще говоря, власть — это в какой-то степени портрет народа. Это те, кто закономерно приходят и отражают состояние людей. Власть определяется единственно состоянием общества. А общество трудно исправить в целом, оно исправляется путем исправления каждого отдельного человека.

Сейчас в России гуманитарное знание чувствует себя не лучшим образом. Вам не кажется, что это серьезная общественная проблема?

Беда в том, что наступление на гуманитарную сферу — это явление мировое. До сих пор доминирующей была европейская цивилизация, к которой принадлежим и мы. В ее развитии огромную роль играло гуманитарное знание. Сейчас на мировую арену выходит огромный неевропейский мир, и его, понятное дело, стремятся как-то вписать в существующий порядок вещей. Создается новый тип цивилизации, в котором человек, сидящий за компьютером в юго-восточной Азии, без труда поймет своего партнера в Торонто. Это прагматичный (что называется, ничего личного) подход, способный обеспечить рост производства и торговли. С точки зрения глобалистского подхода гуманитарное образование — лишняя трата, отягощающая государственный бюджет, не ведущая ни к каким видимым материальным достижениям и в конкурентной борьбе ничем не оправданная.

Общий знаменатель, к которому мало-помалу приводятся самые разные народы, не предусматривает тех ценностей, которые входят в наш культурный код. По крайней мере, не предусматривает их в полной мере. Происходит не просто дегуманитаризация образования — налицо его деевропеизация. Возникает убогое равенство всех перед компьютерными играми, Голливудом и экзаменом-кроссвордом по литературе. Энтузиасты этого пути пока не чувствуют опасности, им кажется, что дело развивается по немецкой пословице, согласно которой у самого глупого крестьянина самая крупная картошка. Они исходят из того, что для добычи углеводородов знание Гоголя не обязательно, а потому культура представляется им ценностью избыточной. Это глубокое заблуждение. Картошка будет крупной до тех пор, пока не истощится земля. А дальше придется заниматься починкой мозгов, восстанавливать гуманитарное полушарие, без которого — это выяснится очень скоро — полноценный мыслительный процесс невозможен.

Как Вы объясняете людям, далеким от науки, почему общество все-таки должно содержать филологов? Почему, то есть, здание Пушкинского Дома не следует отдавать, например, Таможенной службе — при том что дивиденды от деятельности таможни выглядят более очевидными?

Всякая цивилизация словоцентрична, а филолог — хранитель слов. Хорошо бы написать антиутопию о том, как начали вдруг исчезать филологи, а за ними стали исчезать слова. Общество же поощряло только то, что приносило доход, и постепенно дошло до состояния, когда звон денег стал сопровождаться мычанием. Ну, потом, конечно, исчезли и деньги.

При том что христиан, согласно статистике, на Земле треть населения, современный мир, и цивилизованный в том числе, руководствуется, прежде всего, языческими по своей сути понятиями (национальный интерес, корпоративизм, культ власти/контроля над другими людьми/государствами, культ наслаждения и пр.). Вы согласитесь с мыслью, что путь и учение Христа оказались не очень востребованными человечеством?

Те понятия, которые Вы перечислили, не являются специально языческими, они, скорее, общечеловеческие. Что же касается востребованности христианства, то я бы не говорил о человечестве в целом. Кем-то оно востребовано, кем-то нет. Но ведь, судя по поговорке «Всяк крестится, да не всяк молится», это было и раньше, в те времена, когда принадлежность к той или

иной конфессии была делом обязательным. Массовое, в силу общественных условий, посещение церкви еще не говорит о духовном благополучии — вспомните, чем окончился синодальный период русской церкви. Сейчас этой массовости нет, но есть свобода выбора, а свободно принятое решение имеет особую цену.

На Ваш взгляд, в популярном на сегодня понимании свободы как следования своим желаниям есть какая-то системная ошибка?

Системная и, в конечном счете, боюсь, фатальная. История цивилизаций — это, как известно, история ограничений — без этого было бы не выжить. Возможность заплывать за буйки и переходить улицу на красный свет — это тоже свобода, но мы ведь знаем, к чему она ведет.

Закадровый спор апологии успеха и апологии милосердия в романе «Лавр» может быть разрешен, или это по определению конфликтные стратегии?

Идея милосердия, я убежден, вневременная, внеклассовая и вненациональная. Она существует как в хижинах, так и во дворцах. В этой мысли я укрепился, столкнувшись с реакцией на мой роман. Ято опасался, что пишу о своих внутренних фантомах, и вдруг обнаружил доброе отношение к книге с самых разных сторон — так называемых «простых» людей с присущим им консерватизмом и воспитавшей меня научно-либеральной среды, верующих и неверующих, успешных и неудачников, здоровых и больных. Как сказал мне по поводу «Лавра» Леонид Юзефович, есть темы, перед которыми равны все.

Я довольно долго жил на Западе, где давно решили проблему еды и одежды. Так вот сейчас, сытые и одетые, категорию милосердия они парадоксальным образом соединили с категорией успеха. По-настоящему успешен тот, кто помогает другим — потому-то у них так развита благотворительность. Думаю, когда мы наедимся за все десятилетия недоедания, так же будет и у нас. Я вижу первые признаки этого.

notes

Примечания

1

Гаврилов А.К. Петербург в судьбе Генриха Шлимана. СПб., 2006. С. 22.

2

Там же. С. 351.

3

См.: Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии / Сост. Е.Г.Водолазкин. 2-е изд. СПб., Logos, 2006. С. 23.

Лихачев Д.С. Раздумья о России. СПб., *Logos*, 1999. С. 552.

5

Дмитрий Лихачев и его эпоха: Воспоминания. Эссе. Документы. Фотографии / Сост. Е.Г.Водолазкин. 2-е изд. СПб., Logos, 2006.